

ЮРИЙ БУЙДА

Львы и лилии

открытие
издательства
«Gallimard»,
финалист
«Букера»
и «Ясной
Поляны»!



Юрий Буйда
Львы и лилии

«ЭКСМО»

2013

Буйда Ю. В.

Львы и лилии / Ю. В. Буйда — «Эксмо», 2013

Бывают женщины, укушенные «бешеной собакой любви»: в любых отношениях им тесно, от добра они ищут добра, но находят печаль и боль. В каждом рассказе Буйды перед нами разворачивается небывалая драма страстей: вот юная девушка находит возлюбленного, но на пороге замужества становится жертвой насильника. Вот дочь безрезультатно соперничает с собственной матерью за мужское внимание, готовая ради него на все. Вот две сестры живут с одним мужчиной и рожают от него детей, не в силах поделить мужа... а вот история жены маньяка-педофила, которая узнала о «склонностях» мужа, когда было уже поздно. Мир Буйды пугает и завораживает одновременно. Автор исследует природу женственности и приходит к удивительным выводам...

© Буйда Ю. В., 2013

© Эксмо, 2013

Содержание

Ваниль и миндаль	5
Львы и Лилии	16
Счастливое тело	28
Бешеная собака любви	33
Марс	35
Взлет и падение Кости Крейсера	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Юрий Буйда

Львы и лилии (сборник)

Ваниль и миндаль

«Сон Сан Жоан... Сон Сан Жоан... Сон Сан Жоан...»

За четыре с половиной часа эти три слова она произнесла вслух и про себя, наверное, раз сто. И раз десять сбегала в туалет. Снова и снова замазывала мелкие прыщики на щеках крем-пудрой и не могла решить, что делать с большим прыщом, назревавшим над правой бровью, ближе к виску: давить или черт с ним? Прыщ вскочил внезапно, уже в самолете. И потом, в чем предстать перед Нико – в джинсах, в юбочке или в шортах? И что делать при встрече – кивнуть или броситься ему на шею?

Наконец она надела короткие-прекороткие черные шелковые шорты, туфли на двенадцатисантиметровых каблуках, выдавила прыщ, заклеила ранку кусочком пластыря и провела по губам лиловой помадой с блестками.

В дверь постучала стюардесса: «Вернитесь на свое место, пожалуйста».

По трансляции объявили, что самолет прибывает в аэропорт города Пальма-де-Майорка Сон-Сан-Жоан, температура воздуха в столице Балеарских островов – плюс двадцать шесть градусов.

Испанский офицер открыл ее паспорт, улыбнулся, спросил: «Vainilla?» – и поставил штамп.

В детстве она злилась на мать, наградившую ее таким именем. Одноклассники звали ее Ванькой, а домашние – Ванечкой. Но потом она стала замечать, как меняются лица у взрослых мужчин, когда они слышат ее имя, и мать была прощена.

Нико ждал ее. В белоснежной рубашке, расстегнутой на груди, высокий, загорелый, улыбающийся. Ваниль бросилась к нему, обняла за шею, повисла, вдыхая его запахи – миндального крема после бритья, дорогой туалетной воды, здорового тела, табака. Он поцеловал ее в волосы, протянул букет – бордовые, алые и розовые розы, подхватил чемодан.

– Как мать? – спросил он.

– Скоро выпишут...

– Это хорошо, – сказал Нико, пропуская ее в дверь. – Хорошо, что приехала.

Их поджидал огромный серебристый кабриолет, при виде которого у Ванили перехватило дыхание.

– Это Пабло, – представил Нико шофера. – Павел. Испанцы зовут его Ла Мано Негро – Черная Рука.

Правая рука у шофера была темно-лиловой до локтя – Ваниль еще никогда не видела такого большого родимого пятна. А взгляд у этого Пабло был нехороший – ледяной, пустой.

Пабло открыл дверцу, Ваниль скользнула на заднее сиденье. Нико сел рядом.

Машина тронулась, через минуту рванула, и волосы Ванили подхватил ветер.

На глаза навернулись слезы: сбылось.

Сбывается.

Она – на Майорке, рядом Нико, они мчатся по автострате мимо оливковых, миндальных и апельсиновых рощ, мимо белых домиков под черепичными крышами, над головой – синее небо, вдали – лесистые вершины Сьерра-де-Трамунтана, Ваниль улыбается, в ушах шум, голова кружится...

Пабло сбросил скорость, свернул с автостраты.

– Вальдемосса, – сказал Нико, – мы ее пообедем...

Оливковые рощицы на террасах, деревушка – теснящиеся на склонах дома, силуэт картезианского монастыря, где Шопен и Жорж Санд провели зиму...

Ваниль полгода – с того самого дня, как Нико пригласил в гости их с матерью, – читала в Интернете о Майорке, об арагонском короле Хайме Завоевателе, высадившемся со своим войском в Санта-Понсе и освободившем остров от мавров, о мысе Форmentor и дворце Альмудайна, о деревянных трамвайчиках в Порт-Сольере и пасхальных шествиях в Пальме, о Гауди и кафедральном соборе La Seu, стоящем на берегу моря, о балеарских прашниках и о черных котах, спасавшихся на Майорке от инквизиции, которая сжигала ведьм вместе с их попугаями, воронами и кошками, и, конечно же, о Шопене и Жорж Санд, она даже скачала какие-то его ноктюрны и прочла ее роман о скромной и трудолюбивой красавице Консуэло, об Андзолетто и смуглолицем графе Альберте, восхитительном и загадочном, от прикосновения которого у Консуэло закружилась голова, как сейчас кружилась она у Ванили...

Кабриолет еще раз свернул и остановился перед белой виллой.

– Вот мы и дома, – сказал Нико.

Огромная светлая комната на втором этаже выходила окнами на искрящееся море, огромная кровать сверкала шелком, гардеробная оказалась огромной комнатой, а в огромной ванной, облицованной расписным матовым кафелем, могла бы с комфортом разместиться средняя чудовская семья – отец, мать, двое детей, бабушка с клюшкой и кошка.

Пабло принес чемодан и поставил цветы в вазу.

Нико открыл шампанское. На этикетке было написано «Louis Roederer Crystal Rose» – Ваниль знала из журналов, что в Москве такое шампанское стоит тридцать тысяч рублей за бутылку. *Напиток богов.*

Они чокнулись.

От счастья у нее разболелась голова.

– Отдохни, – сказал Нико. – Я буду рядом, внизу.

Она приняла душ, надела мягчайший махровый халат с иероглифом на спине, допила розовое шампанское, забралась под шелковое одеяло и тотчас уснула.

Ей было пять лет, когда бабушка дала ей попробовать ваниль. Подцепила чайной ложкой несколько кристалликов из банки и дала. Кончик языка у девочки распух, из глаз покатались слезы. Несколько дней она не могла избавиться от жжения во рту, хотя чистила зубы и утром, и в обед, и вечером. Только потом она узнала, что это был ванилин – 3-метокси-4-оксибензальдегид, и только в двадцать лет впервые увидела в Елисеевском настоящую ваниль – корявенький стручок в стеклянном сосуде, похожем на пробирку.

А когда Ванили исполнилось шесть, погибла ее старшая сестра. Ваниль ненавидела ее – Ниночка мучила младшую, издевалась и поколачивала тайком от родителей. Они с матерью пришли в леспромхоз, где тогда работал отец, стояли возле штабеля. Ниночка щипала младшую, Ваниль с ненавистью прошипела: «Чтоб ты сдохла», и в этот миг на них обрушились бревна. Мать схватила раздавленную Ниночку и бросилась в больницу. Ваниль бежала следом – забрызганная кровью сестры, целая и невредимая.

Ниночка умерла.

На поминках тетки – двоюродные сестры матери – напились и подрались.

Весь Чудов сбежался поглазеть на молодых женщин, которые на площади дрались ногами: обе в детстве занимались карате. Маленькие, рыженькие, кривоногие, в разорванных блузках, они дико вскрикивали и напрыгивали друг на дружку под хохот зевак, пока Малина, десятипудовая хозяйка ресторана «Собака Павлова», не разняла их – взяла брыкающихся, взъерошенных и визжащих теток за волосы и отнесла в подвал, где и заперла – одну в закутке с картошкой, другую оставила среди банок с помидорами.

«Однобрюховы ж, – сказала горбатенькая почтальонка Баба Жа. – Понятно ж».

Однорюховы были в Чудове известным кланом: десяток Николаев, два десятка Михайлов, тьма-тьмушая Петров, Иванов, Сергеев, Елен, Ксений, Галин и даже одна Констанция черт бы ее подрал Феофилактовна Однорюхова-Мирвальд-Оглы – все они были маленькими, задиристыми, противными и некрасивыми, и хотя приходились друг другу братьями, сестрами, тетками, деверями, шурьями, кумовьями, зятьями, тещами, свекровями и невестками, вечно ссорились между собой и с соседями...

Вскоре после гибели Ниночки отец ушел из семьи.

По вечерам мать плакала, винила во всем дочь: «Ты смерть Ниночкину приманила злым словом», проклинала тот день, когда вышла за Андрея Однорюхова, бросила учебу в институте, устроилась продавщицей в хозмаге, думала, что это временно, а вот вышло – на всю жизнь. Она всего боялась – когда-то боялась не выйти замуж, потом боялась давать детям молоко, от которого может случиться белокровие, всегда боялась вампиров, иностранцев и евреев, боялась, что инопланетяне заберут ее на другую планету для опытов, а после развода боялась остаться одна...

Отец иногда навещал их, и Ваниль слышала, как мать уговаривала его вернуться, обещала быть «верной рабой», потом голоса стихали, из-за двери доносился только скрип кровати, а потом отец уходил, оставив на столе конверт с деньгами.

Когда он пропал, мать первым делом побежала к Свинине Ивановне, известной колдунье, которая отругала ее за глупость и велела идти в милицию.

Спустя неделю Андрея Однорюхова нашли в лесу – он был привязан к дереву и изувечен. Голову его обнаружили неподалеку, в овражке.

В тот же день арестовали Витьку и Вовку Однорюховых, с которыми Андрей строил дома в Подмоскowie. Они дружили с детства. Оба признались в убийстве: не поделили деньги.

Ваниль так плакала на отпевании, что ее вывели из церкви.

Ей хотелось броситься отцу на шею, почувствовать его запахи – табака, водки и бензина, захотелось, чтобы он обнял ее, как всегда, чтобы легонько хлопнул ее по заднице и сказал: «Расти, жопа, расти», чтобы дунул в ухо и рассмеялся своим глупым и добрым смехом, но ничего этого не будет, а отец лежит в гробу с пришитой головой...

Она плакала на кладбище, плакала на поминках в ресторане «Собака Павлова», куда пришли и две женщины, с которыми жил отец. Одна из них подвела к Ванили толстого мальчика и сказала: «Познакомься, Ванечка, это твой братик Ванечка». И засмеялась. Ваниль пнула мальчика ногой, плюнула женщине в лицо и с диким воплем набросилась на нее – едва оттащили.

Мать и тетки обступили Ваниль, стали толкать, орать, брызгая слюной, обзывать идиоткой и тварью неблагодарной, которая не понимает, что избитая ею женщина оплатила поминки из своего кармана, ах ты, дура синюшная, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не Нико. Он взял Ваниль за руку, вывел из ресторана, посадил в машину и увез из Чудова.

Если кого Однорюховы и боялись по-настоящему, так это был Нико. Они робели в его присутствии и даже не осмеливались перебивать, что и вовсе было не в их натуре.

Нико был рослым широкоплечим красавцем, властным и богатым. Говорили, что он владел какой-то крупной компанией, которая занималась то ли нефтью, то ли строительством, то ли поставками оружия за границу.

Все женщины из клана Однорюховых завидовали Ирине, которой так повезло с мужем. Они называли его джентльменом, хотя ни одна из них не смогла бы написать это слово правильно.

Мать Ирины была уборщицей в детдоме, а отец – рабочим на сырзаводе. Она ни с кем не дружила, и даже парня у нее никогда не было. Окончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом, удачно вышла замуж, родила двоих детей. И держалась с таким достоинством, с такой холодноватой приветливостью и непринужденностью, что никому и в

голову не приходило сравнивать ее с родственницами, однобрюховскими женщинами – малогрудыми, кривоногими, рыжими и крикливыми. Да и фамилия у нее теперь была – Нелединская, красивая фамилия, в самый раз для хозяйки большой квартиры на Пречистенке и загородного дома на Рублевке.

Нелединские часто навещали мать Ирины, вдову, которая жила на Восьмичасовой. Пока женщины болтали или стряпали, Нико катал детей в машине, которая была такой большой, что не помещалась во дворе. Нико не ругал детей, забиравшихся с ногами на кожаные сиденья, он вообще никогда не повышал голоса – умирал собеседников одним взглядом.

Запахи дорогой кожи, дорогого табака, дорогого миндального крема после бритья, дорогой туалетной воды – Ваниль чувствовала их всякий раз, когда думала о Нико. Он был ее богом и героем, существом почти мифическим, и иногда ей отчаянно хотелось быть хоть немножко Нелединской. Она не завидовала их квартире, загородному дому, машинам, их деньгам, не завидовала даже их одежде, их коже и умению держаться – она хотела быть настоящей Нелединской, *химической* Нелединской, а не по фамилии.

После драки на поминках Нико усадил ее в машину и увез в Москву.

В кафе на Мясницкой он заказал себе кофе, Ванили – мороженое.

– Как там Ирина Ивановна? – наконец спросила Ваниль.

Жена Нико лежала в онкологической больнице.

– Неважно, – сказал он.

– Нико... – Ваниль помолчала. – Ты ее сильно любишь?

Слово «любовь» считалось в Чудове скоромным. Любить можно было разве что родину, родителей, детей или колбасу, а если речь заходила о мужчине и женщине, это слово всегда произносилось с иронией, с ядом. Но в голосе Ванили не было ни иронии, ни яда.

– Нет, – ответил Нико. – Я не способен любить, Ваниль. – Он усмехнулся и поднес чашку к губам. – Я ведь из поколения циников и лицемеров. Считалось, что при советской власти мы служили идее, но у нас не было ни убеждений, ни веры. Эгоисты. И я – эгоист, неспособный любить. Это не жалоба – это констатация факта. А без веры любви не бывает...

У Ванили перехватило дыхание. Нико не сюсюкал – разговаривал с нею как со взрослой женщиной, которой не нужно объяснять, что такое «констатация».

– Не обязательно же верить в Бога, – робко сказала она. – В человека можно верить...

– Нет. – Он покачал головой. – Человека можно понимать или не понимать, любить или не любить, можно доверять ему или не доверять, но верить в него – верить нельзя, потому что нельзя ни за что. Это опасно. Мы же не верим в Лондон или в электричество... – Помолчал. – За последние сто лет было много сделано для того, чтобы идеалом нашим стал ковер на стене, а каков идеал, такова и жизнь. Впрочем, идеалы не находят в коробке на чердаке – их делают. – Он допил кофе. – И никто, конечно, не ожидал, что жизнь вдруг станет такой... все эти соблазны, эти возможности... эти деньги... жизнь стала слишком широкой – я бы сузил...

Улыбнулся, вытер губы салфеткой и чуть подался к Ванили.

– Ты живешь с уродами, среди уродов, но это не значит, что ты тоже уродина. Не значит, Ваниль. Можно жить настоящей жизнью где угодно, но главное не это. Главное – нельзя ее откладывать. Понимаешь? Ты ведь, наверное, тысячу раз слышала, как люди говорят: мы-то счастья недостойны, живем плохо, ну ничего, перетерпим как-нибудь, зато наши дети будут хорошо жить...

Ваниль кивнула: слышала.

– Не будут. Отложенная жизнь – она как мертвый младенец в утробе, отравляющий мать своим ядом. Понимаешь? Не откладывай жизнь на потом. Потом не будет ничего. Ничего. Никто не знает, что значит подлинная жизнь. Я – не знаю. Пытаюсь понять, но не понимаю. Или понимаю задним умом... так бывает: вспоминаешь о чем-то и думаешь, что надо было

поступить иначе, по-другому... это проблески подлинной жизни, наверное... – Вздохнул. – Тебе шестнадцать, Ваниль, пора...

Ваниль кивнула, хотя и не поняла, что значит – пора.

Нико расплатился.

– Если хочешь, – сказал он, – можешь пожить несколько дней у нас. Пока там все уляжется... С Ольгой я договорюсь.

Ольгой звали мать Ванили.

Нико открыл дверцу машины.

– И перестань называть мать мамкой. – Он помог ей забраться на переднее сиденье. – Попробуй называть ее мамой. А? Ради нашей дружбы.

Ваниль покраснела.

Когда он запустил двигатель, зазвонил телефон.

– Да, – сказал Нико.

Вдруг закрыл глаза.

– Да, – снова сказал он, выключая телефон. – Извини... – Нико всем телом повернулся к девочке: – Планы меняются. У тебя есть деньги на автобус?

Достал бумажник, сунул Ванили купюру.

– Ирина Ивановна умерла, – сказал он. – Только что.

Ирину Нелединскую хоронили в Чудове. Отпевали в древней Воскресенской церкви, стены которой всегда, зимой и летом, были покрыты инеем, несли гроб по площади, посыпанной по старинному обычаю сахаром, сожгли «под голубку» – девочка, одетая во все белое, выпустила из рук белую птицу-душу, когда медный ангел на трубе крематория запел прощальную.

Нико никогда не приезжал в Чудов с охраной, но на этот раз возле него неотлучно держались трое крепких молодых мужчин, которые вежливо оттирали любого, кто пытался приблизиться к их хозяину. Исключение было сделано только для тещи, матери Ирины, да для Ольги и Ванили.

В церкви, в крематории и на поминках в ресторане «Собака Павлова» Нико молчал, был холоден, отчужден.

Женщины шептались: такой мужчина, конечно, один не останется – сорок два года, красавец, богач, такие во вдовцах долго не ходят.

Ванили были неприятны эти шепотки. Хотелось подойти к Нико, но она не решалась. Она вдруг вспомнила, как мать однажды сказала, что Нико хороший человек, но живет какой-то страшной жизнью. Он был богом с иконы, которого невозможно обойти кругом, увидеть его затылок, и это пугало.

После поминок Нико вдруг поманил Ваниль.

– Помнишь наш разговор в кафе? Так вот, девочка, ради настоящей жизни, ради своей подлинности иногда приходится переступать через других людей. Не бойся. В других случаях это тоже приходится делать, но чаще и злее. И с каждым годом все чаще и все злее. Переступить-то переступишь, а потом куда идти? Слишком много дорог, слишком... – Вздохнул, поцеловал Ваниль в лоб. – Пообещай, что будешь мечтать о настоящей жизни. Хотя бы мечтать.

Ваниль кивнула.

Нико сел в машину – кортеж тронулся.

– О чем это он? – испуганно спросила мать. – Зачем мечтать-то?

– Пойдем домой, мама, – сказала Ваниль.

Ваниль не обманула Нико: десять лет она мечтала о настоящей жизни.

После смерти жены Нико перестал приезжать в Чудов. Звонил редко – поздравлял с Рождеством и Пасхой. Все больше времени проводил за границей. Когда узнал, что Ваниль поступила в университет, прислал денег: «Купи себе что-нибудь».

Денег было много, но Ваниль не стала их тратить – открыла счет в банке. Она была экономной девочкой. Лечила зубы и стриглась в Чудове, покупала китайские шмотки и ужинала жареной куриной печенкой. Училась на факультете вычислительной математики, хотя с таким же успехом могла бы учиться на филолога-германиста или финансиста.

По окончании университета устроилась в компанию, которая торговала программным обеспечением. Платили хорошо, но половину зарплаты выдавали в конвертах. На работе Ваниль подружилась с усатенькой Юлькой, девушкой крупной, смуглой и бойкой, вместе они сняли квартиру с видом на Измайловский парк – выходило по двенадцать с половиной тысяч на душу в месяц. Именно с этой Юлькой Ваниль и пережила самое волнующее приключение в своей жизни: однажды они выпили вина и вместе пошли принимать душ – принимали до умопомрачения. Вскоре, однако, Юлька встретила своего *милого*, вышла замуж и съехала.

Ваниль перебралась в квартиру поменьше. По вечерам листала глянцевого журналы или сидела за компьютером, переписываясь с френдами в социальных сетях. Она вывешивала «ВКонтакте» свои фотографии – томные позы, затуманенный взгляд – и получала комментарии вроде: «Чем ты прогневила богов? Неужели они вернули тебя на землю, позавидовав твоей красоте?», счастливо вздыхала, но потом поджимала тонкие губы и на предложения о встречах в реале не отвечала.

Перед сном она принимала душ и подолгу разглядывала себя в зеркале. Невысокая, светло-пегие пушистые волосы, маленькие глаза, бесцветные губки, едва проклюнувшаяся грудь. Ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Разве что ноги – ноги у нее были идеальные, не однобрюховские.

Однажды Нико сказал, что Ваниль похожа на недопроявленную фотографию: изображение лишено резкости, лицо словно в тумане.

«В ней еще не проснулся бог, – сказал Нико. – Но это еще случится. Лишь бы это был нормальный бог, человеческий...»

За десять лет Ваниль прибавила в груди, в бедрах и заднице – ей это шло.

И накопила на банковском счете почти двадцать тысяч евро.

Всякий раз, когда она приезжала в Чудов, мать заводила один и тот же разговор: «Пора замуж, пора». Ну конечно, Ванили хотелось встретить своего *милого*. Но что-то удерживало ее, что-то мешало ей ответить взаимностью тем парням, которые изредка пытались за нею ухаживать. Одному из них она даже позволила поцеловать ее по-настоящему, с языком, но когда он вдруг полез под юбку, оттолкнула и сказала: «Нет». И больше с ним не встречалась.

Матери она об этом, конечно, не рассказывала. Ваниль была не то чтобы очень уж скрытной, но никогда не забывала о тех днях, когда мать обвиняла ее в смерти Ниночки, в смерти, которую Ваниль приманила злым словом.

Ей было двадцать шесть, она понимала, что рискует остаться одна, и догадывалась, что мечта может убивать, но ничего не могла поделать. По вечерам жарила куриную печенку и мечтала о настоящей жизни. Иногда вспоминала того парня, с которым целовалась. В том, что тот парень поцеловал ее с языком и залез под юбку, она не видела ничего плохого. Ей даже хотелось, чтобы ее целовали именно так, с языком, и чтобы кто-нибудь залез ей под юбку, и хотелось всего того, о чем рассказывала Юлька после свадьбы, но – нет, она сказала «нет», потому что нет. Дело было не в парне, а в мечте, бессмысленной, как жареная куриная печенка.

Нико позвонил накануне Рождества, поздравил, а потом позвал в гости.

– На Майорку? – ахнула Ольга.

– Денег я пришлю, – сказал Нико. – Приезжайте, когда сможете.

– Приедем, – прошипела Ваниль, глядя на мать страшными глазами.

– Приедем, – испуганно проблеяла мать, – о боже ж ты мой, приедем...

Ваниль не сказала матери о тех двадцати тысячах евро, которые накопила за десять лет на банковском счете. Нико прислал денег, и Ольга занялась формальностями: виза, страховка, билеты. Бегая по конторам, она узнала, что Ваниль вряд ли бы пустили в Испанию одну: считалось, что одинокая девушка может там остаться и заняться проституцией. Об этом Ольга с удовольствием сообщила дочери. Та посмотрела на нее пустыми глазами и ничего не ответила.

Ваниль погрузилась в Интернет – изо дня в день она разглядывала снимки Майорки и читала об арагонском короле-завоевателе, о черных котах, спасавшихся от инквизиции, о Шопене и Жорж Санд, о скромной и трудолюбивой красавице Консуэло и ее милых – красавце Андзолетто и смуглолицем графе Альберте, восхитительном и загадочном...

Она не думала о Нико – он и без того был частью ее химического состава, – она думала о новой, настоящей жизни, где ее наверняка ждет милый, восхитительный и загадочный, и где не будет куриной печенки.

Ольга записалась в фитнес-клуб, села на диету, купила купальник, в котором ее грудь казалась побольше, и стала иногда задумчиво напевать: «Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка...»

Ваниль посматривала на мать с улыбкой – она никогда не видела ее такой оживленной.

– Чего лыбишься? – сказала Ольга. – Я-то еду понятно зачем, а ты-то?

– Дурочка ты, мама, – сказала Ваниль. – Ох и дурочка.

На дуру Ольга обиделась бы, а на дурочку – кто ж на дурочку обижается?

Незадолго до отъезда Ольга решила купить себе красивый халат – видела такой в ГУМе.

– Тогда надевай новые туфли, с каблуками, – сказала Ваниль. – Заодно разносишь.

В ГУМе их нагнала толпа молодых людей, сыпавших вниз по лестнице. Ольга шарахнулась от них, покачнувшись на непривычно высоких каблуках, Ваниль толкнула мать – та вскрикнула и полетела вниз головой.

В ожидании «Скорой» Ваниль держала мать за руку и шептала: «Я ж говорила: дурочка... дурочка, дурочка...» И шурилась, глядя на беспомощную Ольгу.

Через восемь дней Ваниль улетела на Майорку, оставив мать в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами позвоночника и правого голеностопа.

Она проснулась после обеда, приподнялась на локтях, обвела взглядом огромную комнату, залитую солнцем, и глубоко вздохнула. Накинула халат, вышла на террасу, с которой открывался вид на море – до горизонта, до рези в глазах. Первый день на Майорке. Первый из четырнадцати.

Когда она с матерью ездила в Турцию или Египет, то они заранее составляли программу – где побывать, что посмотреть. Собираясь на Майорку, она не задумывалась о том, что будет делать на острове. Майорка – это настоящая жизнь, вот что она думала, а настоящую жизнь невозможно спланировать – это не куриная печенка по сто семьдесят девять девяносто за кило, которую Ваниль умудрялась растянуть на неделю. Если Нико пригласил ее, то ему и решать, чем Ванили тут заниматься.

Она вышла на лестницу и замерла, услышав голоса, которые доносились снизу.

– Если тебя это не устраивает, – говорил Нико, – можешь убираться. А я не хочу подставляться...

Ему отвечал мужчина – похоже, это был Пабло, но его слов Ваниль не разобрала.

В их голосах звучала угроза, и на какое-то мгновение Ваниль почувствовала себя Консуэло, которая через колодец проникла в подземное убежище графа Альберта, в его тайную жизнь.

Она громко кашлянула – голоса внизу мгновенно стихли.

– Ваниль? – крикнул Нико.

Она сбегала по лестнице в гостиную и увидела Пабло, стоявшего у высокого окна, выходящего на террасу. Пабло перевел взгляд с девушки на хозяина и вышел.

– Отдохнула? Ну и хорошо. Сейчас мы поедем в Пальму, к Сандре. Это замечательная женщина, она тебе понравится. Считай, что это мой первый тебе подарок – Сандра.

Нико улыбался, говорил легко, и нельзя было поверить, что минуту назад его голос был жестким, тяжелым, ржавым.

– А после Сандры – ужин. Я заказал столик в ресторане. Рыба или мясо?

– Ой, да все равно!

– Значит, рыба.

Она взлетела наверх, скинула халат, вывернула из чемодана на пол одежду, выхватила простенькое светлое платье, светлые же трусики и лифчик, вдруг обернулась – увидела Пабло, который с террасы невозмутимо наблюдал за ней. Охнув, Ваниль метнулась в ванную, заперлась, прислушалась. Сердце колотилось. Он видел ее голой, всю видел. Глаза у этого Пабло были как у рыбы, у чудовищной рыбины, поднявшейся вдруг из морских глубин, чтобы умертвить своим взглядом все живое под солнцем.

Ваниль встряхнула головой. Ну его к черту, этого Пабло. Она приехала к Нико, а он не даст ее в обиду. Быстро оделась, выглянула из ванной – на террасе никого не было – и выбежала из комнаты.

Во дворе у кабриолета ее ждали улыбающийся Нико и невозмутимый Пабло.

Сандра оказалась хозяйкой то ли магазина, то ли салона красоты. Как рассказал Нико, ее отец был сербом, а мать – украинкой, поэтому Сандра сносно говорила по-русски. Высокая, худая, узколицая, она взяла Ваниль за руку, подвела к окну, показала головой.

– У ее лица нет истории, – сказала она. – Сколько тебе лет?

– Двадцать семь, – сказал Нико.

– Двадцать шесть, – поправила Ваниль.

Сандра фыркнула и решительно потащила Ваниль за собой.

Через пять часов совершенно обалдевшая Ваниль предстала перед Нико: новая прическа, новое платье, новые туфли, новые запахи и, кажется, новое тело.

Сандра принесла шкатулку, Нико велел Ванили повернуться и застегнул на ее шее кольцо.

Ваниль взяла Нико под руку, и они отправились в ресторан.

У нее подгибались и дрожали ноги, замирало сердце, перед глазами все кружилось, и время от времени она придерживала шаг, боясь упасть в обморок.

После ужина прогулялись по старому городу, выпили кофе в маленьком заведении неподалеку от арабских бань и спустились к набережной, где их ждал Пабло. Он отвез их к Вальдемосу.

Если бы Ваниль спросили, о чем они разговаривали в ресторане и кафе, она ничего не смогла бы вспомнить.

– Посидим на террасе? – предложил Нико.

Когда они расположились в уютных креслах за овальным маленьким столиком, Пабло принес вино, разлил по бокалам и исчез.

Отсюда открывался вид на серебрившееся под луной море, над которым горели звезды – они были гораздо ярче и крупнее тех, что Ваниль видела в Чудове.

Нико закурил сигару.

– Нравится? – спросил он. – Все это – нравится?

– Да. – Она прокашлялась и повторила: – Да. Очень.

Одного этого дня было бы достаточно, чтобы оправдать десять лет ее мечтаний – десять лет жареной куриной печенки. А сейчас Ваниль думала только об одном: придется ли ей при отъезде с Майорки возвращать это роскошное платье, эти туфли и кольцо.

Она пригубила вино. Рука дрожала.

Нико откинулся в кресле.

– Ты хотела бы здесь жить? Летом – здесь... Ну не всегда – тут довольно скучно, однообразно... остров маленький... Есть еще дом в Биаррице и небольшая вилла в Майами. Зимой – в Лондоне. Хотя зимой можно хорошо провести время где-нибудь на Карибах или на Гавайях... или где хочешь...

Ваниль кашлянула.

– Как это?

Нико повернул к ней голову и улыбнулся.

– Тебе хочется вернуться в Чудов? В Москву? К матери? Тебе двадцать семь, Ваниль...

– Двадцать шесть.

– Двадцать шесть. Ты не замужем, живешь на съемной квартире, работаешь среди гастарбайтеров. Выйдешь замуж за одного из них? Или за чудовского, как твоя мать? Станешь матерью-одиночкой? – Он говорил ровным голосом, чуть посмеиваясь, словно и не всерьез. – Другой жизни у тебя там, боюсь, и не будет. Это – твоя настоящая жизнь?

Он взял бокал, взболтнул вино, отпил.

– А какая? – хрипло спросила Ваниль. – Настоящая – какая?

– Не знаю. И никто не знает. Но для начала хотя бы та, которую предлагаю я. – Он выпрямился. – Наверное, я напрасно сразу взял быка за рога, извини, но мне кажется, лучше так, без уверток... Если ты согласна, завтра же летим в Париж, оденешься там... или в Милан... куда хочешь... начнешь жить настоящей жизнью, Ваниль, настоящей... – Допил вино, поставил бокал на столик. – Я понимаю, что мое предложение может показаться тебе непристойным. Наверное, оно таковым и является. Да нет, оно попросту непристойно. Ты можешь отказаться, сказать «нет» – что ж. Проведешь две недели на Майорке, ни в чем не нуждаясь, обещаю. И мы никогда не вспомним об этом разговоре. Дурной сон, пьяный бред – назови как угодно. Забудем. Ничего не было. Через две недели вернешься домой веселая, загорелая, с подарками, как ни в чем не бывало. Это платье, это кольцо – они твои, без дураков. Колье стоит пятнадцать тысяч евро – оно твое. Эти две недели будешь жить тут, в твоём распоряжении весь дом, я оставляю тебе денег, прислуга будет сдвигать с тебя пылинки. Если не нравится здесь, завтра же – или даже прямо сейчас – сниму для тебя номер в хорошем отеле. А через две недели вернешься в Москву, в Чудов – куда хочешь...

Ваниль словно оглохла. Она чувствовала себя глубоководной рыбой, вытащенной на поверхность, жалким чудовищем, которое вот-вот взорвется от избыточного давления. Взорвется, разлетится на мелкие кусочки.

– Что? – переспросил Нико.

Она поняла, что, видимо, на какой-то миг выпала из жизни и в бессознательном состоянии что-то сказала.

– Да, – сказала Ваниль. – Ну да-да.

Она удивилась, услышав свой голос: он был твердым и чистым, а не хриплым, как минуту назад.

Нико налил в бокалы вина. Ваниль выпила вино бесчувственно, как воду.

– Я поднимусь к тебе через полчаса, – сказал Нико.

– Полчаса, – повторила она, хотя хотела сказать: «Хорошо».

Он кивнул, откинулся на спинку кресла и пыхнул сигарой.

В ванной она сняла туфли, повесила платье на плечики, спрятала кольцо в выдвижной ящик, встала под душ и замерла, забыв включить воду.

Неизвестно, сколько бы она так простояла, если бы в дверь не постучали.

– Сейчас! – крикнула она и включила воду. – Минутку!

Через десять минут она вышла из ванной, замотанная в полотенце, от сильного удара упала на пол, проехала на животе по паркету, закричала, Пабло навалился, жарко дыша в лицо.

Все произошло быстро.

Ваниль лежала на полу скорчившись и с ужасом смотрела на Нико, который был прикован наручниками к двери. Значит, все это произошло у него на глазах. Ей хотелось зажмуриться, но не получалось. Настоящая жизнь. Куриная печенка.

На полу валялась бейсбольная бита – ею, похоже, Пабло оглушил хозяина: голова у Нико была в крови, он еле держался на ногах.

– А ты прав, Нико, – сказал вдруг Пабло. – Она была целкой – клянусь рукой. Ты ведь целку хотел купить?

Он повернулся к Ванили и рухнул от удара битой в лицо. Ей пришлось ударить его еще семь раз, чтобы он перестал дергаться.

– Теперь уходи, – сказал Нико глухо. – Теперь ты должна уйти, Ваниль... ты сама понимаешь... должна понимать...

Она повернулась к нему – тоненькая, обнаженная, малогрудая, всклокоченная, потная, забрызганная кровью, с потемневшими от ярости глазами – и спросила:

– Ты правда хотел?.. – Запнулась. – Чего ты хотел, Нико?

– Ты должна уйти, – повторил Нико. – Уходи, пожалуйста... если тебе нужны деньги...

Ему наконец удалось выпрямиться.

Она шагнула к нему.

– Чего ты хотел, Нико? Чего ты хотел на самом деле?

– Ваниль...

– Чего?

Он закрыл глаза.

Через два дня сеньора Каталина Д., которая занималась уборкой на вилле близ Вальдемоссы, сообщила в полицию о преступлении. Камеры видеонаблюдения в доме были выведены из строя за несколько дней до убийства, поэтому личность преступника установить сразу не удалось. Хозяин одного из ресторанов в Пальме рассказал, что за несколько часов до смерти Нико ужинал в его заведении с молодой женщиной, но описать ее внешность не смог: ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда через месяц из Нью-Йорка вернулась Сандра Ф., которая хорошо знала Нико и запомнила необычное имя его русской подруги.

Ваниль задержали в Чудове, в больнице, в кабинете гинеколога. На вопрос об отце будущего ребенка она ответила со смехом: «Да кто ж его знает!»

Она не запиралась, рассказывая следователю о своем пребывании на Майорке. Ей удалось снять номер в отеле на берегу моря, несколько дней она колесила по острову на арендованной машине, останавливаясь в живописных местах, чтобы искупаться, перекусить и заняться сексом. Все эти дни она «трахалась, как землеройка», три-четыре раза в день, а то и чаще. Ее рекорд – восемь мужчин за день, причем дважды это был групповой секс. Своих партнеров она называла «милыми», но имена их вспомнить не могла. «Андзолетто, Альберт, Консуэло... шучу, извините... их было слишком много, всех не упомнишь...» Испанцы, немцы, англичане, французы – в отеле, на пляже, в темном проулке, где придется.

Собравив, что бриллиантовое кольцо на таможне вызовет вопросы, она подарила его любовнице-англичанке. Но платье от Сандры берегла – в нем вернулась домой, в нем явилась в

больницу к матери – загорелая, веселая, сияющая, прекрасная. Мать сказала: «Тебя не узнать» – и заплакала.

Однако когда речь зашла об убийстве Пабло и Нико, Ваниль замкнулась, перестала отвечать на вопросы. Она не отрицала, что именно она совершила это преступление, забив обоих мужчин бейсбольной битой до смерти, но о мотивах и обстоятельствах убийства не сказала ни слова.

На суде Ваниль была спокойна, даже весела, отвечала на все вопросы, кроме вопросов о мотивах и обстоятельствах убийства. Выслушав приговор, сказала матери: «Платье береги, не надевай, наденешь – убью, клянусь рукой».

Львы и Лилии

Лилия – это имя, а Лилечка – это судьба.

Лилия и Лилечка – разные женщины.

Лилечка каждый день ходит на службу, пьет растворимый кофе, слывет среди коллег мямлей и чуть ли не синим чулком, вечером покупает в супермаркете пачку пельменей и йогурт, запирает дверь на три замка и читает «Гипериона» или комментарии к «Дуинским элегиям». Она работает редактором в издательстве и втихую презирует авторов, которые пишут «запало за душу» и «пальто, отороченное меховым воротником». У нее жидкие волосы рыжеватого оттенка, слишком большая грудь, слишком широкие бедра, а одевается она на Кандауровском рынке.

А Лилия... Лилия – вакханка, гетера, сука, подружка Сафо и Кэтрин Трамелл... по вечерам, заперев дверь на три замка, она надевает белье «Victoria's Secret», пьет душистое вино и ласкает себя до одури... она обожает Тинто Брасса и Джона Хьюстона, опасные тайны и приключения, запах скипидара, мясо с кровью, потных безмозглых мужчин с волосатыми плечами, грязь под ногтями... и у нее роскошные рыжие волосы... огонь в джунглях...

Лилией была моя мать, а я – только Лилечкой.

Я получила свое имя – такое же, как у матери, – как пальто с чужого плеча.

Уменьшительно-ласкательный суффикс превращал меня в тень, в пародию...

Про отца я почти ничего не знаю. Однажды мать сказала, что он был выдающимся человеком, переводил Кьеркегора и комментировал Шестова, но этим список его достоинств и исчерпывался. Они не прожили вместе и двух месяцев – я появилась на свет, когда переводчик Кьеркегора исчез из нашей жизни навсегда. Мать не любила о нем вспоминать.

Зато про Льва Страхова она могла рассказывать чуть не каждый день. Он был первой, главной и единственной ее любовью. Настоящей любовью. Ураганом любви, тайфуном любви и погибелью. Он врвался в женскую судьбу, как захватчик в поверженную крепость, крушил все вокруг, грабил и насиловал, а потом уходил не оборачиваясь...

Когда мать вспоминала про Льва Страхова, она оживлялась. Лев Страхов, Лев Страхов! Он был гениальным актером, который опередил свое время, безудержным пьяницей и бабником. А какой у него был голос... какой дивный голос... бездонные – без-дон-ные – глаза и дивный голос... голос самого соблазна... пленительный голос зла...

Мать то и дело сходилась и расходилась с мужчинами. Они появлялись и исчезали. Когда она расставалась с очередным любовником, то принималась вспоминать Льва Страхова. Другие мужчины приходили и уходили, а вот он – он всегда был с нами, этот человек-ураган, насильник и грабитель, землетрясение и пожар.

«Настоящий лев, – говорила мать. – Бешеный, бешеный, бешеный зверь, царь зверей».

Наверное, поэтому мне и снились львы – могучие оранжевые чудовища, которые бродили среди белоснежных лилий. Лилии были огромными, как деревья, а львы – страшными. Они кружили по лесу из лилий... лев за львом, лев за львом... круги сужались... львы были все ближе, ближе... они чуяли меня... их клыки, их мощные лапы с грязными когтями, их смрадные пасти... я с криком просыпалась...

Моя мать была актрисой. Неплохой актрисой в неплохом театре. Какое-то время даже звездой... главные роли – Элиза Дулитл, Ганна Главари... аплодисменты, успех, цветы... Но гораздо лучше у нее получались другие роли: красавица, всеобщая любимица, богиня, ядовитая змея, шикарная любовница... шикарная! Просто шикарная! Отчим ее тоже обожал... он ей все прощал, все-все-все... они ссорились иногда, но так, не серьезно... он был очень хорошим человеком... инженер-строитель... высокий, с прекрасными волосами, широкоплечий, с

детскими глазами... мы с ним гуляли иногда... в парк ходили, в театр... но театр он не очень любил... наверное, из-за матери... однако о ней – ни одного худого слова. Ни одного. Никогда, ни разу. Он никогда не говорил о ней плохо... он ее любил... а для нее он был только одним из воздыхателей... есть такое дурацкое слово – «воздыхатель»... их у нее всегда было много... она любила влюбляться... она так и говорила: люблю влюбляться... и при этом делала рукой вот так... плавно, по-балетному, словно крылом... Вот сука!.. Она ему изменяла чуть не каждый день, а он терпел. Терпел и терпел, а потом умер. В день его похорон она самым пошлым образом отдалась в соседней комнате очередному любовнику. Отчим лежал в гостиной, в гробу, среди этих жутких цветов... а она в соседней комнате ахала и охала... сука... она всегда была сукой... самовлюбленной сукой...

Она не привыкла проигрывать... ведь она всегда была абсолютной чемпионкой мира по красоте, по обаянию, по стервозности... абсолютной, непобедимой, вечной... как памятник... когда она поняла, что выдохлась, что звездой сцены ей уже не быть, просто ушла из театра... отчим был состоятельным человеком, и она могла это себе позволить... могла покупать что угодно... тратила деньги не глядя... и побеждала, побеждала и побеждала... шла по жизни под аплодисменты и звуки оркестров... в лучах славы...

В детстве она мне казалась настоящей богиней... Афродитой, Герой, Артемидой, Венерой... неземная женщина... дивный, божественный мрамор... белый, холодный, прекрасный...

Мне говорили, что я на нее похожа... глаза, руки, шея и так далее... но такая шея была одна во всем мире... дивная шея... белая, полная, пульсирующая... было в ней даже что-то непристойное... непристойное и манящее... прекрасный и ядовитый цветок... точнее, стебель... Она всегда носила открытые платья, чтобы все могли любоваться ее шеей, ее плечами, ее грудью... а я – я так любила наблюдать за ней, когда она раздевалась... или когда она выходила из ванной... она сбрасывала халат одним движением... как мантию... с презрением! высокомерно! великолепно!.. И у меня перехватывало дыхание... ее тело было как взрыв... как залп из тысячи орудий... высокая шея, высокая грудь, высокие бедра... высокие небеса... Господь и ангелы его... она вся словно горела, пылала белым лилейным пламенем... ее тело жило своей жизнью, оно плыло, переливалось, текло, заполняло все вокруг, не было ничего, кроме ее тела, высокого и прекрасного тела... а ее кожа... ее кожа была чудом природы... ароматная, шелковистая, лилее лилий... а родинка под левой грудью – обморок, а не родинка... я так любила целовать эту родинку, когда была ребенком... она позволяла себя целовать... позволяла приобщаться к этому великолепию, к этой роскоши... царственно позволяла поцеловать ее в плечо... в грудь... коснуться губами родинки... кончиком языка... лизнуть и умереть... О боже... Коснуться губами ее шеи... эта ее шея, господи! Хотелось схватить бритву и перерезать ей горло... пе-ре-ре-зать! Или вгрызться зубами, рвануть, хлебнуть крови и – ах!.. Но я – нет, я, конечно же, не могла... она лежала откинувшись, запустив пальцы в свои роскошные волосы, а я ее целовала, целовала... голова кружилась, сердце замирало... какое это было счастье! Какое счастье... Однажды я от счастья даже описалась... просто обмочилась... от избытка чувств надула в трусы... она дала мне холодную пощечину – так, без всякой страсти – и прогнала к черту...

Конечно, я ее любила. Я никого не любила так, как ее, и только ее я ненавидела так, как только можно ненавидеть другого человека. Наверное, она догадывалась... да точно – догадывалась... но что ей другие люди! Другие люди – это будни, а она была женщиной-пожаром, женщиной-праздником. Она обожала праздники, обожала компанию... она без этого жить не могла... как наркоманка... музыка, вино, снова музыка, опять вино – с утра до вечера, по ночам, до утра... как у нее расширялись ноздри, ее жадные ноздри... они становились как у лошади... как трубы... она вдыхала, втягивала эти запахи – запахи табака, вина, мужского пота, духов, горячего воска... она любила зажигать свечи... щеки розовели, глаза вспыхивали,

губы становились толстыми, блядскими, она вся дрожала, вся вибрировала, по ее коже бегали огоньки... она жила, жила – она горела...

А как она умела расшевелить гостей... всех этих поэтов, гениев и красавцев, которые дневали и ночевали в нашем доме... помню, однажды вечером они здорово напились, наговорились, устали и скисли... вечер, полупьяные мужчины и женщины сидят за столом, разговор не клеится... кто-то курит, кто-то потягивает вино, а кто-то просто дремлет... никто и не заметил, как мать вышла из гостиной... ее не было около получаса... а потом она вернулась... ворвалась... разбушевавшаяся Кармен! Выстрел! Буря и натиск! Ураган! Ударом ноги распахнула дверь, ворвалась, закричала что-то сумасшедшее, лихое, дикое, пустилась в пляс... на ней была пышная цыганская юбка... она вбежала в комнату, остановилась, глаза горят, волосы летят, рванула юбку спереди... разорвала до пояса... о, черт! На ней были какие-то безумные чулки... и подвязки... нет, одна подвязка... подвязка с черной розой... белый мрамор, черная роза... и она стала плясать... это был не танец, а безумие... припадок!.. И все вдруг вострепнулись, очнулись, стали хлопать... потом кто-то схватил ложку и принялся отбивать такт... стучать ложкой по столу... другие тоже... все стали отбивать такт ложками... мать в этой своей разорванной юбке... белые ноги, черная роза... стук ложек по столу, по вазам, по тарелкам... трам-там-там... тара-рам!.. Кто-то вдруг упал к ее ногам, пополз, она выставила бедро, и он зубами сорвал с ее бедра розу... Дурдом! Боже, какой дурдом!.. Какой замечательный дурдом...

Поэты и красавцы... среди них был один... он вдруг решил приударить за мной... мне было пятнадцать, а ему, наверное, сорок... или около того... грустный, тощий, очкастый... все время курил... немножко странный... мать его принимала за компанию и называла человеком без имени... он был поэтом... она над ним подтрунивала, но беззлобно... мы вдвоем, он и я, уходили в дальнюю комнату, он читал стихи, мне нравилось, когда он шепотом декламировал:

И на путь меж звезд морозный
Полечу я не с молитвой,
Полечу я, мертвый грозный,
С окровавленной бритвой...

Ох, от этого Хлебникова меня дрожь пробирала... а он меня потихоньку лапал... то за руку возьмет, то за коленку... как бы случайно... а однажды вдруг обнял и поцеловал... Вот это и был мой первый поцелуй... я думала, он сожрет мои губы... засунул язык мне в рот... язык толстый, желтый, прокуренный, горький... рычит, сопит, рукой залез под юбку... в трусики... пальцами там шурудит... я бедра сжала, вспотела, молчу... господи, и страшно, и весело, и отчаянно... и любопытно: а что еще? А дальше что? Он стал сосать мое ухо... боже мой, мочку уха... меня колотит, а он – чмокает... щекотно...

И вдруг вошла мать и сказала: «Милочка, у него двое детей, и жена беременна третьим». Милочка...

Она говорила: милочка, зеленое тебе не идет... милочка, тебе не идет хмуриться... милочка, это так пошло... милочка, не горбись... милочка, смотри мне в глаза... милочка, тебе рано это читать... милочка, этот мальчик родился неудачником... милочка, он тебе не пара... милочка, ты должна нести себя по жизни, как знамя победы, как милость и наказание Господне... милочка, женщина никогда не выбирает между добром и злом, она выбирает только между злом и большим злом... милочка, не забудь закрыть тюбик с пастой... я пью чай – милочка, смерть таится в третьем куске сахара... она всюду... не горбись, не хлюпай, не надевай это, не стой как дура, закрывай дверь, отстань...

Милочка! Милочка! Милочка...

Иногда хотелось бежать от нее куда глаза глядят... спрятаться... я и пряталась... пряталась в стенном шкафу, в коробке из-под телевизора, под кроватью... под кроватью было лучше всего... самые счастливые ночи я провела под кроватью... самые счастливые и самые несчастные... Я так хотела, чтобы меня хватились... чтобы испугались, бросились искать... где Лилечка? Ау, Лилечка! О боже мой, Лилечка!

Но никто меня не искал... никогда не спохватывались...

В школе меня дразнили, называли Милочкой... Лилечка, милочка, девочка, дурочка... ну ладно, что ж... но ведь и на работе, в издательстве... на работе я сразу стала Лилечкой... Откуда они узнали, а? Откуда эти суки узнали, что я – Лилечка? Я пришла на работу, и уже через день все называли меня только Лилечкой! Лилечка и Лилечка... ну и милочка, конечно... Как сговорились! Я думала, что хуже этого ничего нет... как-то я случайно подслушала, как они меня называют за глаза... Мисс Извините. Мадемуазель Простите. Госпожа Виновата. Ну да, я всегда извиняюсь... иногда, наверное, без повода... не знаю... может быть... ну и что? Ну и что тут такого?

Мне хотелось взять что-нибудь... нож, пулемет, гранату... Когда же нибуть должно это кончиться! Когда же нибуть должна умереть, сдохнуть, провалиться эта Лилечка, эта Мисс Извините! Не хочу... ну не хочу! А хочу быть Мисс Пошли Вы Все К Черту! Мадемуазель Налейте Еще! Госпожой Весь Мир У Моих Ног! Мне надоело спать под кроватью!..

Конечно, я пыталась бунтовать... я постоянно бунтовала... в детстве, в юности... красила волосы в немыслимые цвета... вообще красилась – ужас! Глаза, губы... Бр-р! И сочиняла романы... о да, порнографические романы! Жозефина прижалась к нему, и его мускулистая волосатая рука скользнула... Жозефина! Боже мой, Жозефина!.. Жозефина... эта чертова Жозефина прославила меня на всю школу... у нас был один мальчик... ну, в общем, он мне нравился, и я дала ему почитать... а он дал еще кому-то... и пошло, и пошло... я написала продолжение... каждая часть занимала ровно одну тетрадку в клеточку... эта Жозефина почти на каждой странице кому-нибудь отдавалась... мужчинам, женщинам, ослам... и даже троим горбатым карликам одновременно... и все персонажи бешено матерились... сквернословили без удержу... успех был – боже ты мой! Я упивалась славой... на меня показывали пальцем, за моей спиной шептались: это она, она! Мальчики провожали меня до дома... а тот мальчик, который мне нравился, однажды поцеловал меня... он постоянно сосал леденцы, и его сладкие липкие губы на секунду, на миг приклеились к моей щеке... какое счастье... небывалое счастье... эти его сладкие глупые губы, приклеившиеся к моей щеке... это незабываемо... чмок! Смешно и незабываемо...

А потом мою мать вызвали к директору... она познакомилась с моей Жозефиной и сказала: милочка, это написано так плохо, что ты даже не заслуживаешь наказания...

Но она все-таки меня наказала...

Моя порнографическая эпопея завершилась позором... библейским позором и ужасом... испепеляющим ужасом...

Мать устроила громкую читку... было много гостей, они крепко выпили... а потом позвали меня... меня никогда не приглашали к столу, а тут вдруг – нате... их там было человек десять... меня усадили за стол, слева и справа сидели двое каких-то мальчиков... крепкие мальчишки... красавцы и поэты... они сдвинули стулья и зажали меня с обеих сторон... но я сперва не поняла, в чем дело... а мать вдруг достала тетрадку, открыла и начала читать... про Жозефину... эта сука стала читать про Жозефину... это была как раз сцена с ослом... Жозефина и осел... Жозефина думает о том, какую позу ей принять, чтобы ослу было удобнее, и тут осел сгибает задние колени... у меня так и было написано: осел согнул задние колени. Задние колени! Задние колени... Что тут, господа, началось... Как же они смеялись! Как они хохотали! Просто выли! Ржали! Ревели! Визжали! Один толстяк так смеялся, что не удержался и пук-

нул... я думала, их там всех разорвет от смеха... какие у них были лица... какие рожи... какие рыла... красные, потные... а эти их рты... никогда не думала, что человеческий рот может выглядеть так непристойно... срам, а не рот... у матери потекли ресницы... глаза превратились в грязные пятна... бесформенные, черные... вся пятнами, вся красная, вся глупая... я не могла встать и уйти, потому что эти двое держали меня... я сидела между ними в своем свитере... у меня был свитер с медвежатами... я его надевала только дома... голова кружилась, я уже ничего не понимала, а они хохотали и хохотали... казалось, они сейчас начнут блевать... вот-вот начнут... заблюют весь стол, все вокруг... наблюют мне на свитер, на медвежат... я схватила что-то со стола, сунула в рот, и тут меня вырвало... прямо на соседа... на его шелковый пиджак... синий шелковый пиджак... он вскочил, я оттолкнула его, пнула стул, споткнулась, упала... на мне была короткая юбчонка... я упала, юбка задралась... трусы наружу, боже... поползла, вскочила, побежала, с разбегу на что-то наткнулась – и все, потеряла сознание...

Когда я очнулась, рядом был Андре...

У матери тогда был роман с этим Андре... она говорила, что это ее осенний роман... последний... врала, конечно, как всегда, но так она тогда говорила: осенний роман... она называла его Андре... его звали Андреем, а она называла его Андре... пошлость какая... он был моложе ее лет на двадцать или на пятнадцать... она вообще обожала молодых... даже иногда называла себя Федрой, а всех этих мальчиков, которых тащила в свою постель, – Ипполитами... Федра и Ипполиты... закатывала глаза и декламировала: «Давно уже больна ужасным я недугом» – и вдруг начинала хохотать... пошлая Федра... Ипполиты были не лучше... но Андре был очень красив... смуглый, кудрявый, с яркими черными глазами... такой итальянский парень... тупой, но красивый... он всем нравился, этот Андре... он был таким беззлобным, покладистым, веселым... а как он улыбался! Мать говорила, что он напоминает ей Льва... Льва Страхова...

А я была толстоватой, неуклюжей... девочка-подросток... грудь мешает, ноги мешают, руки мешают, задница кажется слишком большой, а глаза – слишком маленькими... слишком густые брови, слишком толстые губы... доктора это называют дисморфманией или синдромом Алисы в Стране чудес... ну да, обычное дело... в общем, я была в него влюблена... он об этом не знал, конечно...

Когда я упала в обморок, этот Андре взял меня на руки и отнес в спальню... мать прибежала – Андре ее прогнал... мы остались одни... я не хотела, не могла говорить – говорил он... нес какие-то глупости, но у него был такой голос... завораживающий голос... пленительный... обволакивающий... я могла слушать его час, другой... хоть всю жизнь... он говорил, говорил... держал мою руку в своей, склоняясь к моему лицу... от него так пахло... мне так хотелось плакать... обнять его, прижаться, задушить... так хотелось его поцеловать... он наклонился надо мной... от него веяло медом и мятой... одеколоном, коньяком и похотью... обольстительно пахло... конечно, если бы вместо меня там вдруг оказалась такса или даже резиновая грелка, было бы то же самое – красота и похоть... бессмысленное, безмозглое, будничное обольщение... он обольщал по привычке, машинально, не задумываясь... такса, грелка, девочка – ему было все равно... но тогда – тогда я думала иначе... он гладил мою коленку... мне так хотелось схватить его, завладеть, не отпускать... ну да, по сравнению с матерью я была как прачка перед царицей... но и у прачки бывает минуточка... может, это и была моя минуточка... он говорил что-то ласковое, гладил мою коленку... и вдруг я испугалась... а вдруг его рука поднимется выше... а у меня, боже мой, очки, веснушки, этот дурацкий свитер с дурацкими медвежатами... эта Жозефина... а главное, конечно, – трусики... они были мокрыми, эти чертовы трусики... я обмочилась, когда потеряла сознание... мороз по коже... вот сейчас его рука скользнет и коснется... но второго позора я бы не пережила... я вдруг поняла, что мне никогда не завладеть этим богом... что ночью, как всегда, он будет трахать мою маман, а она будет орать на весь дом... нарочно орать – чтоб я слышала... а я останусь с Жозефиной и мокрыми тру-

сиками... я ничего не могла поделать... отчаяние было таким сильным... отчаяние и злость... помрачение ума... на меня вдруг что-то нашло... я оттолкнула Андре, схватила со столика ножницы и ударила его в лицо... куда-то еще... кажется, в плечо... зажмурилась и стала размахивать ножницами... я стояла на коленях... на кровати... вопила что-то несурзное, бессмысленное и била, била вслепую, наугад... меня корежило... в комнату ворвались люди... кто-то попытался меня схватить – я ударила, попала... еще... крики, крики... они все кричали разом, наперебой... орали, визжали... стоял такой крик... меня наконец повалили, вырвали ножницы, чем-то накрыли, кто-то навалился на меня... я билась в каком-то припадке...

А потом... потом – потом все стихло... я лежала под одеялом... ничего не помню... сколько я так пролежала, казалось, сто лет... ни страха, ни стыда, ни раскаяния... ничего...

Ничего...

Андре, слава богу, отделался небольшим порезом... я порезала ему щеку... а мать... она ворвалась в комнату, когда я ударила Андре... стояла под дверью, подслушивала... ворвалась и набросилась... я ее ударила... я ничего не видела, я не знала, что это она... я била вслепую, с закрытыми глазами, она просто попала под удар... и я – я попала... ее отвезли в больницу, но было поздно... я себя не контролировала... я не понимала, почему я это делаю... я сошла с ума... это было помрачение ума... я не ожидала... никто не ожидал...

Мне было пятнадцать. А матери тогда только-только исполнилось сорок. Она любила приbedняться... ах, я старею... ах, я старуха... на самом деле выглядела она прекрасно... просто ужас как хорошо... и вот все кончилось... все кончилось...

Мы обе попали к врачам... мать – в больницу, в офтальмологию, а меня повели к психиатру... потом к психологу... не помогло... ей помочь не смогли... да и не могли...

Не помогло...

Вокруг матери всегда крутились поэты и красавцы... много цветов, много вина, много слов... это не могло продолжаться вечно... когда-нибудь это должно было закончиться, и оно закончилось... после того вечера, после Жозефины, после ножниц – все закончилось... какое-то время они еще приходили к нам, все эти завсегдатаи... сидели за столом, пили вино, восхищались матерью... казалось, все было как всегда... деликатненько подшучивали над ее повязкой... и она смеялась... сидела во главе стола, как всегда, снисходительно принимала комплименты... царица Савская... Семирамида... Клеопатра... а когда они уходили, она ложилась на диван и рыдала... и впервые в ее жизни это были настоящие слезы... настоящие...

Гости приходили все реже... иногда звонили... а потом и звонить перестали... избегали ее, не отвечали на ее звонки... больше всего она переживала из-за Андре... Федра скучала по своему Ипполиту... она звонила ему, писала, но он не отвечал... она ничего мне не говорила, но я чувствовала, что этот Ипполит был для нее самой болезненной утратой... странно: я ведь всегда считала ее бесчувственной сукой, и вот вдруг... странно...

Она осталась одна...

Однажды я застучала ее с водопроводчиком...

Она не разговаривала со мной восемь лет. Восемь лет мы не разговаривали друг с другом. Я жила сама по себе: школа, университет, потом работа... в университете я изучала скандинавскую литературу... саги и все такое... я нарочно выбрала Скандинавию... конунги, эрлы, этот костлявый норвежский язык... это было наказание... Снорри Стурлусон, Гримнир, Эдда, битвы и песни... перед сном я рассказывала своему плюшевому льву о том, как прошел день... рассказывала о своей жизни... об этом мире, в котором мне приходилось столько страдать... об этой тьме... о заброшенной шахте, о руднике, о месторождении горя и боли... россыпи зла... золотые жилы унижения... и на самом дне этого ада – пятно света... пятнышко... белая бедная Лилечка... невинное дитя зла... бедная белая лилия во тьме... бедная Лилечка, окруженная демонами, бесами, чудовищами... чешуя и шерсть, шипы и клыки... багровое пламя и смрад...

А эти мечты! Эти мечты... Я сшила себе что-то вроде трико... что-то вроде купальника на пуговицах... чтобы снять купальник, нужно было расстегнуть сто пуговиц... сто! Бред какой-то... чего только не придет в голову... по вечерам я расстегивала купальник... первая пуговица, вторая, третья, четвертая... я закрывала глаза, воображая, как он расстегивает эти пуговицы... первую, вторую, третью, четвертую... чтобы добраться до меня, ему нужно было расстегнуть сто пуговиц, боже мой, сто пуговиц! Утром и вечером – сто пуговиц... безумие, настоящее безумие... каждый день – сто пуговиц...

Одиночество превращает человека в чудовище...

Деньги, оставленные отчимом, таяли – и скоро растаяли... он был очень состоятельным человеком, но мать швыряла деньги не глядя, не задумываясь о будущем... Сначала пришлось продать квартиру на Малой Бронной, мы переехали в Ясенево, в двушку... потом в Кандаурово, в новый район за Кольцевой автодорогой... эти двадцатипятиэтажные новенькие гробы среди пустырей... В театре ей платили – платили из милости... платили крохи... вирджинский табак сменился китайским, французский коньяк – дагестанским, камамбер – костромским сыром... но таблетки – таблетки остались... коньяк и таблетки... коньяк и нембутал, коньяк и сибазон, коньяк и тианептин... у нас всегда было много таблеток... флуразепам, ксанакс, амантадин, карбазепин, валиум... коньяк, таблетки, сигареты, телевизор... все реже книги, все чаще телевизор...

К тому времени она снова стала разговаривать со мной. Она ведь ничего не умела и не хотела уметь. Обед, ужин – все готовила я. У нее не было выбора. Ей приходилось считаться со мной, иначе я могла оставить ее без обеда. Мне это и в голову не приходило, конечно. То есть – вру, приходило, да, иногда хотелось, ой как хотелось, чтобы она повыпрашивала, повымаливала у меня кусок хлеба... но стоило только вообразить, как она ползает на коленях... это ее белое горло, эта ее родинка... нет, невозможно, то есть, наверное, да, я могла бы ее убить, но – не унижить... убить, но не унижить...

И еще эта ее селедочка... селедочка! Она ведь никогда раньше так не говорила, считала это верхом пошлости – все эти «картошечки», «селедочки», «хлебушки»... и вдруг – селедочка... Лилечка, можно мне селедочки? Я чуть не убила ее... я чуть не умерла от стыда и горя...

Но еще ужаснее были ее воспоминания... все эти ее мужчины, все эти поэты и красавцы... она перебирала их, как старуха – пуговицы в шкапулке... этот, тот и этот, а еще тот... как же его звали? Она забывала их имена... забыла... помнила только, что они любили ее... обожали ее... ползали на коленях... носили на руках... воспевали... целовали ее ноги...

Ну и, конечно, вернулся Лев Страхов... ураган, катастрофа, гибель... землетрясение и пожар... настоящая любовь... она вспоминала его каждый день... она ждала письма, звонка, зова... вот он придет, примчится, толкнет дверь, подхватит ее на руки, швырнет на кровать, зарычит, набросится... захватчик, победитель, герой... и этот его голос – пленительный голос зла... она плакала, глотала таблетки, пила коньяк...

Я много раз просила ее рассказать о себе... не о любовниках, нет, и не о Льве Страхове, черт бы его взял, – о себе, о настоящей... я же ничего не знала о ее детстве, о ее родителях... что она читала, что любила, ненавидела, как, чем жила до меня... я пыталась расспрашивать ее о театре, о ее ролях... о чувствах, мыслях... черт, мне хотелось объема, жизни, живого человека, а не безупречного мрамора... дело даже не в том, чтобы полюбить ее какой-то новой, живой любовью... дело в том, что я хотела понять... понять ее... она была не просто моей матерью – она была частью меня... но я – я не была ее частью, вот в чем дело... она не считала нужным... ей и в голову не приходило – открыться перед дочерью, перед единственной дочерью... а ведь я – все, что у нее осталось... все, больше ничего у нее не было... ничего и никого – только я... наверное, я поздно спохватилась... а может быть, мне не хватало настойчивости... и еще эта моя постыдная деликатность... не суй нос в чужую жизнь... ее жизнь была чужой, закрытой...

да, ото всех закрытой... она привыкла фальшивить, притворяться, играть... она не хотела рассказывать о себе ничего такого, что изменило бы мое отношение к ней... она не хотела и, наверное, уже не могла сойти на мою землю – это я должна была подняться до ее небес... тень должна вырасти... ну а если у тени это не получается, что ж, это проблема тени... моя проблема... она считала, что все в порядке, хотя никакого порядка давно не было и в помине... ей было достаточно воспоминаний о том, как ее любили, обожали, носили на руках... все эти поэты и красавцы, имена которых она даже не потрудилась запомнить... ей было достаточно Льва Страхова, коньяка и нембутала... коньяка и валиума... коньяка и феназепамы...

И лишь однажды... это случилось незадолго до ее смерти... я хорошо помню тот вечер... мы смотрели по телевизору новости и вдруг услышали: погиб Андре... тот самый Андре... оказывается, этот итальянистый красавец женился на какой-то страшно богатой женщине... она была старше его... лет на тридцать, наверное, старше и очень богата... миллионерша какая-то... они прожили вместе года полтора... и вдруг он соблазнил то ли ее дочь, то ли внучку, какую-то молоденькую девочку, и эта старуха его убила... забила до смерти железной палкой... ужас... я хорошо помнила Андре: он соблазнял всех машинально, привычно, мимоходом... у него качество такое было – всех соблазнять, всем нравиться... ну, это как цвет глаз или привычка дышать, от природы... у кого-то голубые глаза, а у Андре – привычка соблазнять... а эта женщина приревновала его к девчонке – и убила... железной палкой, боже мой, железной палкой по голове...

Сюжет в новостях был коротким – не больше минуты... потом стали показывать каких-то футболистов... и вдруг я услышала стон... я испугалась... я даже не поняла сначала, что происходит... а это она – она плакала... она тихонько всхлипывала, постанывала, у нее текло из носа... она вся содрогалась... Господи, я никогда не видела ее такой... никогда... ну да, коньяк и таблетки, это понятно, но все же, все же... дело не только в коньяке и таблетках, я уверена... она корчилась... плакала, забыв про коньяк... уронила сигарету на пол – едва не проггла ковер... я растерялась... не знала, что делать... я боялась ей помочь – она ведь могла разозлиться, накричать...

Потом она затихла... выпила коньячку, закурила... я не стала выключать телевизор, чтобы не спугнуть ее... она сама выключила... встала, прошлась по комнате... наконец заговорила...

Никогда я ее не понимала, эту Федру, сказала мать, наверное, все дело в том, что я – другая... я – Ганна Главари, Марица, фейерверк, трам-там-там и трам-там-там... а она – она из другого теста, эта Федра... из того же теста, из которого выпечены все эти Клитемнестры, Медеи и леди Макбет... тяжеловесные стихи, пафос, тога... или что там они носили? Пеплос? Хитон? В общем, что-то ужасное, монументальное, из мрамора и гранита... монументы, а не люди... все эти Тесеи, Ипполиты, Цицероны... и Федра... эта Федра... влюбиться в мальчика только потому, что он похож на ее мужа... но ведь не в мужа дело... да плевать ей было на мужа... ни один муж не стоит бессонных ночей и слез... о господи... а вот этот мальчик – стоит, он стоит бессонных ночей... впрочем, дело даже не в мальчике, нет... это любовь... он стоит любви... любовь стоит любви...

Я слушала ее, держась рукой за горло... мне казалось, она бредит... но она не бредила...

Она говорила усталым и почти трезвым голосом, хотя и не очень уверенно держалась на ногах...

Теперь-то я понимаю эту Федру, сказала она, понимаю... поздно... все – поздно... Ипполит, бедный мой Ипполит, глупый и бедный Ипполит, любимый мой... каким же дураком он был, господи, каким же дураком... глупый, красивый, нежный Андре... ласковый и глупый... настоящий красавец... настоящая красота всегда глупа... убить ее – проще простого...

С горькой усмешкой покачала головой и заговорила, не повышая голоса:

Давно уже больна ужасным я недугом.
Давно... Едва лишь стал Тезей та-та та-та-та
И как-то там та-та та-та – та-та
Я, глядя на него, краснела и бледнела,
То пламень, то озноб мое терзали тело,
Покинули меня и зрение и слух,
В смятенье тягостном затрепетал мой дух...

Рассмеялась – деревянным каким-то смехом... у меня мурашки по коже от ее смеха...

Господи, сказала она, какая это чушь... какая прекрасная чушь, боже ты мой... какая сладкая чушь... я была как мяч, понимаешь? Как будто он брал меня... вот так, в руку... и швырял... и я взлетала в небо и вспыхивала, и сгорала... какое счастье – взлететь, сгореть, исчезнуть навсегда... а теперь... а теперь – Ипполит погиб, а Федра... Федра... Федра эта ваша – дура... одноглазая дура...

И снова зарыдала.

Я не выдержала... боже, боже мой... в ту минуту у меня не было никого ближе, никого любимее, никого – роднее... только она, она!.. Я не выдержала, заплакала, заревела дура дурой, бросилась к ней, обняла, опрокинула стакан...

Она спохватилась... нахмурилась... отстранилась, поправила волосы, потянула носом и, глядя поверх моей головы, сказала: «Милочка, ты разлила мой коньяк...»

Милочка...

Я схватила тряпку и стала вытирать пол.

А потом она умерла...

Я часто думаю об этом... о ее смерти... встаю пораньше, подхожу к окну... раннее утро, только-только начинает светать... небо над крышами становится светлее... редкие машины... люди... мне ничего не приходит в голову... наверное, все просто: праздник завершился, наступили будни... на земле валяется чья-то перчатка... всюду конфетти, какие-то бумажки, окурки... хмурые дворники шаркают метлами... однажды утром мать забралась на подоконник и шагнула в пустоту... восьмой этаж... без криков, воплей, без истерики – просто шагнула с подоконника... лучше бунт, чем будни... я ничего не слышала... проснулась от звонка в дверь... это была соседка... она принесла глаз... стеклянный глаз, завернутый в носовой платок... мать так никогда и не воспользовалась протезом... носила темные очки... этот чертов глаз был у нее в кармане, когда она выбросилась из окна... соседка отдала мне ее глаз... я хотела его выбросить, но не выбросила...

На кладбище собралось множество людей. Я плохо понимала, что происходит и что говорят все эти мужчины и женщины... меня мутило, и при этом меня била радостная дрожь... радостная дрожь и предвкушение чуда... я не знала, что с этим делать, как быть, мне было стыдно: похороны, горе – и вдруг эта неуместная радость... болела голова, текли слезы, тугая резинка в трусах больно впивалась в живот... и еще этот душераздирающий, умопомрачительный оркестр... всюду елочные лапы, какие-то ветки, цветы, яма... мне она показалась огромной, как вход в древний собор или в преисподнюю... все кругом блестело и сверкало... накануне был дождь, а в день похорон рассиялось солнце... синее небо, яркое солнце... блестящая глина, блестели венки и цветы... лилии, много лилий – белых, желтоватых, оранжевых... этот их томный божественный запах... все сверкало, искрилось, вспыхивало, пылало... просто праздник... пиршество света и цвета... и надрывный рев огненных медных труб... оркестр играл яростно, отчаянно, на разрыв... праздник смерти... было очень красиво...

зелень, золото, синева, музыка, цветы, гром, блеск и ужас... смерть во всем блеске... во всем своем театральном величии...

Среди венков я вдруг увидела один с надписью на ленте – «От Льва Страхова». Ко мне подошел молодой мужчина... наверное, мой ровесник... сказал, что он – Лев Страхов... Рослый узкоглазый хищник с хорошими зубами... он был похож на Андре, но без сахара...

– Я думала, вы старше, – сказала я.

– Моего отца тоже звали Львом, – сказал он. – Он недавно умер.

– А меня тоже зовут Лилией...

И мы оба вздохнули... ох уж эти причуды родителей...

С кладбища мы ушли вдвоем. В кафе выпили по бокалу вина. О родителях мы не говорили, словно по уговору. Он сказал, что учился на химфаке, кафедра неорганической химии, специализация – направленный неорганический синтез, а теперь у него свой бизнес. Я обрадовалась, что он не актер и не принадлежит к кругу красавцев и поэтов, и сказала, что защищалась по истории норвежской литературы, а теперь служу в издательстве...

– А, понимаю, – сказал он. – Викинги.

От неожиданности я рассмеялась.

Мы договорились встретиться завтра на Пушкинской площади.

Прощаясь, он задержал мою руку в своей – возможно, случайно, но у меня вдруг перехватило дыхание.

В метро, в автобусе я думала о завтрашней встрече... о Льве Страхове... на кладбище и в кафе не произошло ничего особенного, да и не могло произойти, но иногда, наверное, достаточно мелочей... взгляд, улыбка, направленный синтез, викинги, рука в руке – иногда, наверное, достаточно и этой малости, чтобы между людьми возникло что-то... я не знаю что... ведь это все банально, почти пошло, во всяком случае – так обыденно, так обыкновенно, и, наверное, я все это выдумала... может быть... но я – я что-то почувствовала, какое-то легкое движение в душе... или где там случаются эти легкие движения... дуновение, блик, тень, произвольное движение губ... что-то незначительное, что-то неуловимое, что-то, чему и имени нет, и вот оно вдруг возникает словно само собой, словно ни с того ни с сего – и привычный мир рушится... хотя, возможно, я все это выдумала... как всегда – выдумала... при этой мысли мне стало тошно...

Вернувшись домой измученная, в полуобморочном состоянии, я приняла душ, поспала, выпила чаю и принялась разбирать вещи матери. Платья, плащи, пальто, нижнее белье сложила в один пакет, обувь – в другой. Потом взялась за фотографии. Их скопилось много – в альбомах, папках и в больших коричневых конвертах: Элиза Дулитл, Герцогиня Герольштейнская, Джулия Ламберт, Ганна Главари – вершины ее карьеры... десяток моих снимков... толстая папка с завязками, набитая мужскими фотографиями, на которых был запечатлен Лев Страхов – великая любовь, ужас и владыка ее жизни... Гамлет, Мефистофель, Чацкий, Макбет, Васья Пепел...

За ужином я выпила рюмку коньяку, потом другую. Нужно было избавиться от вещей матери. Нужно было не просто выбросить ее платья и лифчики – нужно было сжечь их. Чтобы они превратились в пепел, в ничто. Навсегда, безвозвратно.

Когда начало темнеть, я взвалила узел с барахлом на спину и спустилась во двор. Миновала ряды гаражей, пересекла пустырь, тянувшийся до перелеска, где темнела ограда Кандауровского рынка, и оказалась в неглубоком овраге.

Голова кружилась – вторая рюмка была явно лишней.

Трава вокруг была примята и изгажена, пахло дерьмом и старой гарью, всюду валялись полиэтиленовые пакеты, консервные банки, обрывки газет, ящики, кирпичи, обгорелые доски, окурки: похоже, это место облюбовали бомжи и местная алкашня. Но сейчас в овраге никого

не было. Я вывалила тряпки на землю, щелкнула зажигалкой, села на ящик и закурила, глядя на разгорающийся огонь.

Они пришли на огонь...

На мне была футболка, короткая юбка и спортивные туфли, и когда эти двое вышли из темноты, один из них – тот, что повыше, – сразу уставился на мои коленки. Я поймала его взгляд и онемела. Не могла пошевелиться. Надо было бежать, бежать со всех ног, а меня словно парализовало. Плечи, руки и ноги налились тяжестью, горло сдавила боль, в груди стало пусто и холодно. Тот, что повыше, что-то сказал, но я не расслышала – оглохла. Их запах перебивал запахи дерьма и гари. Низенький присел передо мной на корточки и протянул руку. Я отдала ему недокуренную сигарету. Он глубоко затянулся, выпустил дым, широко открыв рот, – у него не было нижних передних зубов, – и запах тухлых яиц накрыл меня с головой. Я думала, что они скажут: «Будешь орать – убьем» или что-нибудь в этом роде... но они ничего не сказали...

Утром я выбралась из-под одеяла, подошла к зеркалу и увидела себя... высокая шея, высокая грудь, высокие бедра... высокие небеса... Господь и ангелы его... мое тело словно горело, пылало белым лилейным пламенем... какое счастье... и на глазах выступили слезы...

Меня изнасиловали, унизили, растоптали, а я – я плакала от счастья...

Ну да, меня изнасиловали два подонка... это ужасно... я вернулась домой и долго отмывалась от липкой грязи... от этой вонищи... терла мочалкой локти, колени... плакала и терла... потом перестала плакать, только всхлипывала и продолжала тупо тереть колени мочалкой... сама виновата, шептала я, сама виновата... кой черт тебя дернул тащиться на ночь глядя в этот вонючий овраг... да при первом взгляде на этот овраг нужно было тотчас поворачивать и бежать домой без оглядки... без оглядки!.. нет же, не побежала, осталась... ну и вот, и вот... шептала, бормотала, намыливалась, смывала грязь, снова намыливалась... и вот странно... да, наверное, это странно... очень странно... я вовсе не думала об этих подонках... то есть сначала, конечно, думала, а потом нет... совсем нет... видимо, это какой-то психологический механизм – память вытесняет зло... а может быть, дело не только в этом... я не думала о них, потому что я думала о себе... я думала про пальто... то есть как будто про пальто... всю жизнь я ползла на четвереньках, не поднимая головы, придавленная к земле каким-то тяжелым грязным пальто, от которого, казалось мне, не избавиться никогда... оно, казалось, приросло ко мне, стало второй моей кожей, шкурой, чешуей, панцирем, и вот вдруг я сбросила это пальто, и на душе стало легко... я почувствовала себя свободной – как будто в трусах у меня внезапно лопнула тугая резинка... при этой мысли мне стало смешно... меня изнасиловали, а мне – смешно... смешно и все тут... я сидела по грудь в воде и улыбалась... я чувствовала облегчение... на меня снизошла радость... снизошла – это точное, правильное, уместное слово: снизошла... это была настоящая радость, беспримесная, божественная, непостижимая... и эта радость захватила все мое существо, от макушки до пят, и я чувствовала себя чистой, невинной и счастливой...

Радость переполняла меня, когда я ложилась спать...

А утром – утром я выбросила в мусорное ведро купальник со всеми его ста пуговицами, приняла душ, надела легкое цветастое платье, открывающее грудь и плечи, туфли на высоких каблуках, хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице... я летела к автобусной остановке и с каждым шагом становилась все легче...

Через час я вышла из метро на Пушкинской площади и сразу попала в бешеное колесо вращения летней жизни... летели машины, бежали люди... площадь бурлила, пахло пивом, дешевым кофе и бензином... я остановилась, глубоко вздохнула, и мне вдруг стало хорошо, хорошо... люди бежали мимо, никто не обращал на меня внимания, никто не знал меня, никто меня не любил, не желал мне ни зла, ни добра... я была одна... я была безымянна и счастлива... ревели автомобили, бежали люди, солнце пылало в витринах, солнце светило всю...

великий пожар... я была в центре этого безумия, в центре этого пожара, и никому не было до меня дела, я было никем и ничем... это было ужасно... и это было прекрасно... со стороны Белорусского мчались машины «Скорой» и пожарные... за спиной бурно разговаривали по-немецки... мальчишки неслись на роликах – хищные, злые, юные... кто-то бросил на тротуар недоеденное мороженое – оно шлепнулось, расплылось... меня толкали, извинялись и не извинялись... а я не трогалась с места... я была переполнена счастьем, смыслом, жизнью...

И вдруг я увидела ее... о боже, это была она!.. это было невозможно, нелепо, чудовищно, но я увидела – ее... она словно реяла над людьми и машинами... парила над памятником и крышами... плыла в синеватом бензиновом воздухе... совершенная, прекрасная, божественная... она несла свое нагое белоснежное тело как знамя победы... родинка под грудью, мраморное бедро с черной розой, высокая лилейная шея... привидение, мираж, морок... царица, сука, богиня... образ бессмертной любви, моей бессмертной любви...

Меня толкнули – я очнулась. Взглянула на часы: через десять минут должен прийти Лев. Расстегнула сумочку, достала бархатную коробочку, вытряхнула на ладонь стеклянный глаз, сжала в кулаке, зажмурилась, глубоко вздохнула, задержала дыхание – ра-аз, два-а, три-и – и с силой! что было сил! изо всех сил! – запустила его вверх... он круто взмыл, замер, вспыхнул и исчез, пропал, канул, растворился в божественной высоте июньского неба...

Счастливое тело

Верочке Минаковой исполнилось семнадцать, она получила аттестат об окончании средней школы, искупалась в шампанском и стала самой счастливой в мире женщиной.

От шампанского склеились волосы. Сергей Владимирович протянул Верочке флакон с шампунем. Верочка, не сводя взгляда с Сергея Владимировича, который тоже не сводил с нее взгляда, сняла с себя лифчик, трусики и спросила:

– Я правда Афродита?

– Афродита, – поправил ее Сергей Владимирович. – Святая правда.

Сергей Владимирович – он просил называть его просто Сергеем – был кинорежиссером. Верочку он встретил на съемочной площадке – девочка пришла с подружкой, которая была занята в массовке. С того дня Сергей и Верочка не расставались. Он называл ее Афродитой, а она в каком-то угаре сдавала выпускные экзамены.

Верочка пригласила Сергея на день рождения, который решила отпраздновать подальше от родительских глаз. Подружка дала ключ от пустовавшей бабушкиной квартиры.

Сергей принес коньяк, шампанское, коробку шоколадных конфет и роскошный букет. Они танцевали под Джо Дассена, захмелевшая Верочка прижималась к Сергею. Она была невысокой, чуть полноватой, голубоглазой, с большой тугой грудью и большой задницей. Высокий худощавый Сергей шептал ей на ухо: «Древние греки называли богиню любви Калипигой, это значит – с красивой попой».

Потом она сняла платье и залезла в ванну, и Сергей облил ее шампанским.

Потом она сняла лифчик и трусики.

Наутро она сказала матери, что уезжает в Москву.

– Он старше тебя на сорок два года, – сказала мать. – При Керенском родился, о господи.

– Мы любим друг друга, – сказала Верочка. – Это что-то неизъяснимое, мама.

Вечером она уехала в Москву.

Сергей выкупил все места в купе и завалил его цветами. Всю дорогу они пили шампанское и занимались любовью.

Через месяц они поженились.

Верочка стала хозяйкой большой квартиры в старом московском доме и дачи на Жуковой Горе. Благодаря мужу она познакомилась с известными людьми – актерами, режиссерами, писателями. Пожилая кинозвезда Кира Зелинская называла ее Мин: «В твоём лице есть что-то китайское, древнее и загадочное». На самом деле в лице Верочки было что-то удмуртское, потому что ее отец был удмуртом. Но Мин – это прозвище ей нравилось. Кира подарила ей кимоно, которое так шло к китайскому прозвищу, узким глазам и скрывало растущий живот.

В положенный срок Верочка родила мальчика, которого назвали Игорем.

Через два года поступила в полиграфический институт, окончила его с красным дипломом и стала работать в крупном издательстве техническим редактором.

В тот день, когда в московских церквях тысячи матерей молились о здоровье Горбачева, который объявил о начале вывода советских войск из Афганистана, у Сергея случился инсульт.

Верочка вызвала в Москву мать, и вдвоем они за год подняли Сергея на ноги.

Сергей ходил по квартире, опираясь на палочку, пытался читать и писать – он давно задумал мемуары, – но быстро уставал. Щеголеватый пожилой мужчина превратился в дряхлого старика с мокрой ширинкой.

Он происходил из кинематографической семьи. Его мать снималась у Ханжонкова, а отец публиковал рецензии в журнале «Пегас». Их сын снимал документальные фильмы о героях сталинских пятилеток и военную кинохронику, а в пятидесятых стал режиссером игрового

кино. Он снял десятка два фильмов, но среди них не было ни одного заметного. Зато он был хорошим мужем для четырех своих жен, хорошим отцом для пятерых своих детей и хорошим другом для бесчисленных своих друзей, которые любили его за чувство юмора, щедрость и спокойный нрав.

Если его спрашивали, как ему за его долгую жизнь удалось не замараться – не участвовать в интригах, в стукачестве и травле талантливых коллег, Сергей отвечал с невозмутимым видом: «Не приглашали».

Он коллекционировал старинные часы, иконы, любил жирную утку, терпкое вино и вопящих от счастья женщин с жаркими задницами. Теперь же его меню сводилось к каше и травяным отварам, а что же до жаркой задницы... поначалу он даже боялся, что сойдет с ума, думая о жене, которой не было и тридцати, и о мужчинах, окружавших ее в издательстве... некоторых он неплохо знал, и знал, что они постараются не упустить такую добычу... но вскоре понял, что на самом деле хуже всего – это унижительное недержание мочи, а не возможная измена жены...

Однако когда она впервые вернулась с работы за полночь, пьяная и веселая, он собрался с силами и избил ее палкой. Бил по плечам, по спине, а она только закрывала лицо руками и молчала, и это ее молчание – оно было унижительнее, чем недержание мочи.

В детстве Верочка боялась бабы Раи. Эта уродливая костлявая старуха бродила по городку с мешком за плечами и говорила, что ее сын пал смертью храбрых, защищая Москву, хотя все знали, что он отбывал срок за убийство. Иногда она вдруг останавливалась посреди улицы, вынимала вставные челюсти, широко разевала рот и начинала выть.

Верочке почему-то страсть как хотелось заглянуть в загадочный ее рот, но было страшно. Пасть у старухи была огромной, черной, бездонной, и казалось, что она способна проглотить все: и Верочку, и бензоколонку рядом с домом, и общую собачку Фрушу, и весь этот городок с его вечными горестями и простыми радостями, с химзаводом, на котором работал отец, с маминой школой, с бетонным Лениным на площади, обутом в искрошившиеся ботинки, весь городок – со всей его кровью, любовью и морковью, с неунывающим соседом Ленечкой, который при встрече тыкал Верочку пальцем в живот и говорил: «Пузо, железо, авизо», отчего становилось так легко и весело, но в старухином рту все будет не легко, не весело, не трудно, даже не страшно, а – никак, там больше ничего не будет и никого, ни пуза-железа, ни крови-моркови, ни папы с мамой, ни кудрявой Фруши, ни Верочки, ничего, только пустота, только зияние, только эта беззубая пасть, и это-то и было ужасно, и ничего ужаснее не было...

Мать удивлялась: «Да что ж тебя так тянет-то к этой бабе?»

И в самом деле, что тянуло чистую, аккуратную, правильную девочку к уродливой грязной старухе, понять было невозможно.

Мать учила Верочку тому, что должно пригодиться в жизни: стирать трусики и чулки, экономить и держаться прямо.

Ничего не изменилось и после смерти отца, который погиб при аварии на химзаводе.

«Держи себя в чистоте, – сказала мать, когда они вернулись с кладбища. – Никогда не надевай грязный лифчик и заштопанные трусы, когда выходишь из дома. Ты же не хочешь, чтобы санитары в нашем морге смеялись над твоими трусами?»

Той ночью Верочке приснились санитары, которые обступили ее, лежащую в морге на каменном столе, и хохочут, хохочут...

Она с криком проснулась, но не стала рассказывать матери про свой сон.

Матери не было и тридцати пяти, когда она стала вдовой. Вскоре она стала уходить на весь вечер к соседке, хотя Верочка знала, что сосед Ленечка – пузо-железо-авизо – не женат. Однако она ни о чем не спрашивала, а мать ни о чем не рассказывала.

Верочка не была ни красавицей, ни умницей, но из ее упорства можно было строить мосты через великие сибирские реки. Она училась лучше всех, пела в хоре и на уроках физ-

культуры ловко взбиралась по канату, доводя до изнеможения испитого учителя видом своих гладких ляжек и ягодниц.

Все мальчишки знали о том, что спелая Верочка даже от случайного прикосновения начинает учащенно дышать и закатывать глазки, но когда учитель попытался ее облапить в раздевалке, она так отчаянно топнула толстой красивой ножкой и с такой страстью в голосе закричала: «Только по любви, Дмитрий Иванович, только по любви!», что мужчина отступил в полной растерянности, словно перед ним вдруг разверзлась бушующая, черт возьми, бездна.

Мать по-прежнему каждый вечер уходила к соседке.

Верочка училась, пела в хоре, бегала стометровку и стирала чулки, стирала и стирала...

Она устала от чистоты, устала от борьбы с пустотой, являвшейся ей во сне черной старухиной беззубой пастью.

Встреча с Сергеем стала для Верочки спасением, она с восторгом бросилась в эту новую пропасть, в эту страсть и ни разу не пожалела.

А теперь снова – пустота ширилась, разевая беззубую и бездонную смрадную пасть, Сергей бродил по квартире, опираясь на трость и поминутно проверяя, сухи ли брюки, и вот взял и избил ее этой тростью, как шкодливую сучку, а Верочка только закрывала лицо руками и молчала, потому что счастливой сучке нечего было сказать в свое оправдание.

На вечеринке в издательстве пили шампанское, водку и коньяк, мужчины таращились на полноватое тело Верочки, играющее, взволнованное, обтянутое тонким трикотажным платьем, и на ее белую шею, и на ее красивый алый рот.

Она была возбуждена, невпопад смеялась, садилась на край стола, поддергивая подол повыше, и хохотала, глядя на мужчин шалыми глазами.

Потом вдруг спохватилась и бросилась в кабинет старшего редактора Егора Зимина, которому еще утром обещала показать макет книги. На самом деле ей надо было перевести дух, остыть, прийти в себя – впервые в жизни почувствовала, что может сорваться: слишком много было вина, слишком сильно и сладко дрожало тело.

Егор Зимин ей нравился. В издательстве у него не было друзей, его недолюбливали за тяжелый характер и за то, что он помнил, как зовут осла Санчо Пансы. Одна из сотрудниц как-то сказала Верочке, что в Егора запросто можно влюбиться, но любить его – ни боже мой.

Иногда по вечерам он приглашал Верочку в свой кабинет выпить чаю. Он не делал ей комплиментов, не намекал на то, что жена его – дура, а у друга есть ключ от свободной квартиры, – зато мог ни с того ни с сего завести разговор о Достоевском или Ницше. А однажды процитировал дневник Пришвина: «Нигилизм выдумал барин, и nihil в этом понимании являет собой скорее фокус аскетизма, чем действительное ничто. Истинное же, воплощенное в быт ничто, страшное и последнее «ни хуя» живет в улыбающемся оскале русского народа», заметив мрачно: «Вот с чем нам придется иметь дело, а вовсе не с бюрократами и коммунистами».

Верочка краснела – она не могла поддержать такой разговор. Все ее идейные убеждения сводились к гигиеническому постулату «держи себя в чистоте», а книги она любила не читать, а делать: обложки, бумага, шрифты, краска – вот что возбуждало ее, она обожала все это, как классная портниха обожает красивую фигуру клиентки, а не саму клиентку. А если все же читала, то со своей жизнью и вообще с жизнью прочитанное никак не соотносила. Она мало что понимала из того, о чем говорил Егор, но одно было очевидно: он доверял ей, раз заводил речь о таких вещах, которые, похоже, не мог или не хотел обсуждать с другими коллегами.

Верочку завораживал его голос, обволакивающий, гипнотизирующий, и иногда ей приходилось делать усилие над собой, чтобы не впасть в транс.

Наверное, он был одинок, так же одинок, как Верочка, которая дома загружала себя работой – стирала, гладила, мыла, готовила, чтобы хоть чем-нибудь заполнить страшную пустоту. Ну и конфеты, конечно: она с утра до вечера заполняла пустоту конфетами.

С конфетой во рту она вошла в кабинет к Егору, освещенный настольной лампой. Было накурено. Рядом с лампой стояли стаканы и бутылка.

– Будете? – он кивнул на бутылку.

Голос его звучал устало.

Верочка кивнула.

Егор разлил водку по стаканам, вышел из-за стола, протянул Верочке стакан.

– Закусывать нечем, – сказал он. – Извините.

– Хочешь это, котик? – спросила она, вся задрожав, и высунула язык, на кончике которого блестел кусочек расплавленного шоколада.

Голова у нее похолодела, когда он слизнул с ее языка шоколад.

– У тебя счастливое тело, – сказал он, когда она осталась без одежды.

– У тебя счастливое тело, – повторил он, выключая свет.

– У тебя счастливое тело, – снова повторил он, когда она схватила его за руку и потянула к себе.

Сергей избил ее палкой, когда она вернулась домой за полночь, а она только закрывала руками лицо – ей нечего было сказать в свое оправдание. Потом она отвела обессиленного мужа в постель, подмыла его, дала таблетку, укрыла теплым одеялом и, убедившись в том, что он уснул, легла в гостиной на диване.

«У тебя счастливое тело...»

Она не стала принимать душ, чтобы не смывать запахи Егора. Улыбалась в темноте, то и дело поднося к лицу правую руку, потом левую руку, которые пахли Егором.

Когда она выходила замуж, когда после родов почувствовала отчуждение, возникшее между ней и мужем, и долго не могла к этому привыкнуть, когда Сергея разбил инсульт и он лежал труп трупом, ей и в голову не приходило, что у нее может быть другой мужчина, не Сергей, что кого-то другого, не Сергея, она назовет «котиком», что этот худой носатый Егор станет ее «котиком», еще одним ее первым мужчиной. Не было, казалось, таких клеток, не было такого вещества в ее мозге, в котором могли бы образоваться электрические сигналы, порождающие такую мысль или хотя бы образ мысли. На вечеринке эта мысль вдруг возникла, испугав ее и заставив бежать, а потом – потом осталось только лифчик расстегнуть.

Тело ныло – ее счастливое избитое тело...

«У тебя счастливое тело... пузо, железо, авизо...»

Как же глупо, думала она, и как же, боже мой, хорошо...

Через двадцать пять лет Верочка сидела летней ночью у костра в рощице, шумевшей мелкой листвой в ста шагах от ее загородного дома, и с улыбкой шептала: «Пузо, железо, авизо...», не сводя взгляда со своих трусиков и лифчика, дотлевавших в огне.

Издательство развалилось, она создала свое, потом другое, муж умер, на его похоронах у кинозвезды Киры Зелениной случился инфаркт, Верочка ухаживала за ней до конца – все друзья и родственники словно забыли о несчастной старухе, Егор уезжал за границу, возвращался, разводился с очередной женой, при встречах говорил: «Не понимаю, Мин, что нас с тобой связывает, мы же совершенно разные: я – кот, ты – огурец, но ведь что-то тянет, что-то, чему и названия нет», иногда он пропадал надолго, Верочка тосковала, сын повзрослел, у него была своя жизнь, работа не спасала, зияющая пасть пугала, и спасением были только мужчины, «котики», много-много «котиков», которые заполняли пустоту, среди них было много пьяниц, а один украл из шкатулки, стоявшей на камине, восемьсот долларов и бриллиантовые сережки – подарок Сергея, с «котиками» Верочка сходилась на вечеринках, где много пили, и она пила, иногда до беспамятства, но по-настоящему запила после смерти Игоря, единственного сына, вундеркинда, которого любили друзья, любили девушки, обожала мать – своего красавчика,

которому все удавалось, который к двадцати пяти годам занял видный пост в иностранной компании, а в двадцать восемь умер от рака сердца, она продала старинные иконы, часы, книги, чтобы оплатить лечение, но сын умер, умер, умер, вдруг, внезапно, ужас, зияющая пасть, бездна, никого рядом, никого, и Верочка запила, и пила, потом сама легла в психушку, где психолог сказал: «Вера Николаевна, вы должны простить себя, иначе вам не выкарабкаться», а колдунья сказала: «Сожги память, сожги всю боль, которая накопилась в твоей памяти», и Верочка стала жечь книги, оставшиеся от Сергея, рубашки Игоря, свое белье, испачканное злом после соития со всеми этими «котиками», отвернувшись от нее в трудную минуту, забывшими ее, и тут появился Максим, сильный и внимательный, бывший офицер, на десять лет моложе, и они стали жить вместе, вдруг выяснилось, что ей причитаются огромные деньги по страховке сына, на эти деньги она купила Максиму шикарное авто, а еще загородный дом километрах в ста от Москвы – полгектара земли, двухэтажная дача с крышей из металлочерепицы, флигель для гостей, баня, беседка в березовой роще, они стали приезжать сюда на все выходные – летом и зимой, здесь было хорошо, хорошо, только вот Максим оказался обжорой, психом и пьяницей, Чечня-Чечня, кричал во сне, напивался, однажды жестоко избил Верочку, потом просил прощения, она не выгнала его лишь потому, что подступала старость, пустота, пасть, хотя тело ее сохранило девичью упругость и белизну, это наследственное, это природа, это Бог, на даче Максим выпивал две-три бутылки водки разом и заваливался спать где попало, а Верочка встречалась во флигеле с соседом, потом с его сыном, наглым и грязным мальчишкой, а потом сжигала в костре лифчик и трусики, потому что надо держать себя в чистоте, и вот сейчас она сидела перед костром, думала о Егоре, который позвонил вчера и сказал, что развелся со своей англичанкой и на днях вернется из Лондона, значит, они встретятся, поговорят о Кьеркегоре и Лакане, он будет говорить, она – слушать, ничего не понимая и млея от звука его голоса, кот и огурец, которых ничто не связывает, Верочка покраснеет, когда Егор проведет пальцем по ее упругой белой груди и скажет: «У тебя счастливое тело», а потом она вернется домой, откажется от душа, чтобы не смывать запахи Егора, и снова, и снова будет переживать волшебную дрожь, которую мог вызвать в ее теле только Егор, он один, больше никто, и будет шептать: «Пузо, железо, авизо», нюхая то правую руку, то левую, и она подняла правую руку, но не стала нюхать, потому что она пахла наглым и грязным соседским мальчишкой, а не Егором, который на днях появится, подойдет, проведет пальцем по груди и скажет: «У тебя счастливое тело», и она заплакала счастливыми слезами, шепча: «Пузо, железо, авизо», и Ангел с высоты узрел нагую женщину у костра, слепяще-белое невинное тело ее посреди тьмы черной, и вздрогнул, и помчался вдаль, все выше, выше, туда, где любовь, правда и жизнь сливаются с любовью, ложью и смертью в одно целое, в ужасающее божественное целое, и мчался, грозно шумя крыльями и думая о нагой женщине у костра, о глупом огурце Верочке, о неизъяснимой Мин, думая о любви, правде и жизни, думая о любви, лжи и смерти, думая об этом теле, об этом счастливом теле и не понимая, может ли счастливое тело служить оправданием пред Господом, наверное, может, а может быть, и нет, возносясь все выше, в средоточие смысла жизни возносясь, но по-прежнему не понимая, что же это такое на самом деле – счастливое тело, счастливое тело...

Бешеная собака любви

Было еще темно, когда она встала, на цыпочках прокралась в ванную, плеснула в лицо холодной воды, посмотрела в зеркало и не узнала себя. Она уже чувствовала, она уже понимала, что сейчас произойдет, и ей было немножко не по себе. Что-то внутри, да, это что-то внутри, в глубине, что-то уже начиналось, и пренебречь этим ей было не под силу. «Тебе сорок два года, – прошептала она. – Ася, ты дура». Улыбнулась, откинула волосы со лба, глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь, но не получилось. Дрожали руки, дрожали ноги, дрожало что-то внутри, что-то темное, что-то бешеное, что-то неудержимое, что-то желанное, страшное и веселое. Скинула халат, с силой провела ладонями по животу. Идеальное тело и бесцветное лицо. «Ты женщина не для глаз – для губ», – говорил ее первый муж. Они развелись из-за мотоцикла. На шестнадцатилетие отец подарил Асе мотоцикл, она села в седло, включила двигатель, рокот его отдался бешеной дрожью во всем теле, выкрутила ручку газа, рванула, помчалась, закричала, глаза ее вспыхнули, полыхнуло, слилась с железным зверем, исчезла, перестала быть, стала всем. Первый муж был танцором в Большом, они прожили вместе два с половиной года, но однажды, после очередной размолвки, Ася вскочила на мотоцикл и умчалась куда глаза глядят. Второй муж был самым молодым генералом таможенной службы. Огромная квартира на Смоленке, загородный дом на берегу озера, весна в Ницце, цветы, полотенце для рук, полотенце для ног, скука. Она стала изменять ему через три месяца после свадьбы. Выбирала в баре красивого парня и посылала ему визитку мужа со своим телефоном на обратной стороне. Один, другой, третий, четвертый... «Остановись, Ася, ты мчишься мимо жизни, ты не человек, а буйная субстанция, хаос, стань кем-нибудь, самый страшный лабиринт – даже не круг, а бесконечная прямая, дурная бесконечность, – говорил ей третий муж, медиамагнат и доктор философии. – Слышишь? Аська, собака бешеная! – Срывал с нее платье. – Аська, любимая моя собака бешеная! Бешеная собака любви!..» Не сводя с него взгляда, она с улыбкой поднимала божественную свою ножку и начинала смеяться мелким грудным смехом, сводившим мужа с ума. Они расстались через четыре года, от него Ася родила Лизу. Четвертый муж, пятый... Когда познакомилась с будущим шестым, возник вдруг первый бывший, они встречались, пока она не вышла замуж, через месяц стала встречаться с третьим мужем, бывшим, и одновременно вспыхнул ее турецкий роман. Она работала в турагентстве, французский язык свободный плюс сносный – испанский, на ходу выучила немецкий и английский, ей это легко давалось, поехала оценивать новый турецкий отель, закрутила роман с хозяином, чуть не осталась там, но вернулась, села на мотоцикл, глаза вспыхнули, помчалась, помчалась, закричала, сливаясь с железным зверем, распадаясь, превращаясь в ничто – ни облика, ни имени, колесо вильнуло, удар – ничего не могла потом вспомнить. «Тебе тридцать семь, Ася, – со слезами в голосе говорила мать. – Ну почему? Почему ты не можешь успокоиться? Почему? У тебя есть все: любовь, деньги, друзья, дочь... Остановись, хватит!..» Месяца три она училась ходить. По ночам торчала на сайтах знакомств, попадались интересные экземпляры: красавец из Мюнхена, обаятельный парень из Памплоны... Вступила в переписку с Жаном Батистом, который жил в деревушке под Греноблем. Сорок лет, никогда не был женат, водитель автобуса, похож на меланхоличного вампира. Через полгода встретились, спустя два дня поженились, она родила мальчика – Кристиана, французская родня – каждый второй житель деревни – была в восторге от Аси, которая по субботам угощала всех настоящим русским борщом, нянчилась с ребенком, по воскресеньям гуляла под руку с мужем, часто выбирались в горы, потом стали путешествовать: Гренобль, Лион, Авиньон, Ним, Арль... На четвертом году жизни в деревне, под Рождество, она подошла в мастерской к младшему брату Жана Батиста, дизайнеру, положила левую руку ему на плечо, улыбнулась чарующей своей улыбкой и взяла за яйца. Парень бежал, спрятался на чердаке – она не стала его преследовать. Через полгода Жан Батист подарил ей

мотоцикл. Ася обошла машину, провела ладонью по бензобаку и усмехнулась. Что ж, значит, так тому и быть, значит, началось, и это не остановить. Она смотрела в зеркало, дрожала и улыбалась. Встряхнулась. Натянула кожаные джинсы и тонкий хлопчатобумажный свитер. Сунула в карман деньги, спустилась во двор, села на мотоцикл, включила двигатель, его рокот отдался дрожью во всем ее теле, глаза вспыхнули, выехала со двора, выкрутила ручку газа и помчалась, помчалась куда глаза глядят. На следующий день на заправке близ Тарба она подошла к двадцатипятилетнему рослому красавцу, который жевал бутерброд, прислонившись к стене кафешки, положила левую руку ему на плечо и сказала с улыбкой: «Трахни меня, pimpollo». Хуан оказался баском, бандитом и террористом. Он не подчинялся приказам ЭТА, был сам по себе, грабил, взрывал и убивал. Четыре месяца они грабили, взрывали и убивали, а потом испанские и французские полицейские и жандармы блокировали банду Хуана в заброшенном горном шале. Ася отстреливалась до последнего, а когда патроны закончились, вскочила на мотоцикл, глаза вспыхнули яростью, закричала бешено, рванула вперед, выкрутив до отказа ручку газа, и рухнула с откоса – пуля снайпера вошла между глаз, вторая пробила ее сердце, третья прошла мимо, и только воздух еще долго дрожал-дрожал...

Марс

Малина собралась продавать ресторан.

Всякий раз, когда дела начинали идти плохо, она заводила разговор о продаже заведения, которое держалось на плаву только благодаря свадьбам, похоронам и бандитам.

Бандитам нравилось здесь отдыхать по вечерам: Чудов стоял на отшибе, на острове, единственный мост можно было без труда держать под контролем. А если милиция блокировала мост, бандиты уходили по воде – на моторках, которые держали в разных уголках острова.

Бронзовая скульптура острорылой сидящей собаки, благодаря которой столовая № 1 и была прозвана «Собакой Павлова», считалась у бандитов талисманом: собираясь на дело, каждый трогал собачий нос – на счастье. В полутьме этот отполированный нос сиял золотом.

Бандиты щедро платили по счетам и следили за тем, чтобы в ресторане все было в порядке и всего было вдоволь. Благодаря этим парням и их подружкам шесть гостиничных номеров над рестораном никогда не пустовали.

Но как только удача отворачивалась от бандитов, дела Малины приходили в упадок. Свадьбы и похороны случались нечасто, по вечерам ресторан пустовал – чудовцы не привыкли ужинать и выпивать под чужой крышей, и углы в гостиничных номерах зарастали паутиной.

Целыми днями Малина сидела за стойкой с чашкой мятного чая, уставившись на желтоватую фаянсовую табличку, которая была прикреплена к стене медными шурупами. На табличке было написано синими буквами:

*Только б не сегодня,
Только б не сегодня,
Только б не сегодня,
Только б не сегодня.*

Эта табличка, висевшая в ресторане с незапамятных времен, часто вызывала споры. Одни говорили, что это не стихи, потому что это не стихи, а черт знает что. Другие возражали: раз строчки располагаются в столбик, значит, это стихи. Иногда подпившие гости распевали эти четыре строчки то на манер какого-нибудь гимна, то на манер «Мурки».

Малина таращилась на фаянсовую табличку, пока не приходила пора закрывать заведение. Ее тошнило от мятного чая. А когда вспоминала о тех временах, когда она запросто прогуливалась по набережной в коротеньких шортах, обжигаемая хищными взглядами мужчин, ей и вовсе хотелось плакать.

Но вскоре на смену прежним бандитам приходили другие, более удачливые, и Малина оживала. Она меняла затрапезные шлепанцы на туфли, халат – на облегающее платье, мятный чай – на крепкий кофе. Ее десятипудовая туша легко и ловко скользила между столиками, за которыми сидели новые клиенты – они, как и старые, не упускали возможности хлопнуть Малину по невероятной ее жопендрии. А иным выпадало счастье уединиться с нею в спальне и быть сбитыми с ног ее невероятными грудями, которые выскакивали из расстегнутого лифчика, как раскаленные ядра из чудовищной пушки.

Звучала дурная музыка, паленая водка лилась рекой, под сводами зала клубился табачный дым, на кухне едва успевали жарить куриные окорочка и крылышки, замаринованные черт знает в чем, а сверху, из номеров, доносился скрип шести отчаянных кроватей, и часто после полуночи пьяненькие шальные девушки, весь туалет которых сводился к туфлям на высоком каблуке, устраивали танцы на столах, их поливали шампанским, посуда летела на пол, Малина прижималась невероятным своим бедром к очередному избраннику и счастливо жмурилась, покуривая тонкую сигарету...

Однажды гости «Собаки Павлова» так разгулялись, что утратили бдительность и были застигнуты конкурентами врасплох. В ход пошли пулеметы, автоматы, пистолеты, дробовики, стулья, цепи, бейсбольные биты, бутылки, ножи, вилки, и даже оторванную у кого-то руку с перстнями на каждом пальце пустили в дело – ее использовали как дубину.

Повара и официантки разбежались.

Малина была сбита с ног и завалена телами.

Утром трупы бандитов и стреляные гильзы вывозили грузовиками. Три дня пожарные при помощи брандспойтов смывали кровь с площади и стен «Собаки Павлова». Малина заколотила окна фанерой и уехала в Кунгур, к сестре, умиравшей от рака.

Через полгода Малина вернулась, привезла с собой племянниц – Риту и Рину, вставила стекла, выковыряла пули из стен и дала объявление о продаже ресторана и гостиницы.

Она понимала: времена бандитов закончились, и никогда больше не звучать здесь дурной музыки, никогда не литься водке рекой, не скрипеть шести отчаянным кроватям наверху, не танцевать голым шалым девчонкам на столах, и никогда, никогда больше не сбивать ей мужчин с ног невероятными своими грудями, которые выскакивают из расстегнутого лифчика, как раскаленные ядра из чудовищной пушки, и никто за все это больше щедро не заплатит...

Малина впервые почувствовала приближение старости.

Каждое утро, отправив племянниц в школу, она спускалась в зал, заваривала чай и занимала свое место за стойкой, но это была скорее дань привычке, чем необходимость.

Ресторан пустовал.

Иногда вечерами сюда забредали двое-трое стариков да пьяница Люминий, чтобы выпить пива, но вели себя посетители словно на поминках – разговаривали шепотом, курили в кулак.

Малина наливала себе водочки и начинала перебирать в уме вещи, которые ей хотелось взять на память о «Собаке Павлова». Бронзовый острорылый пес слишком велик и тяжел, а вот фаянсовую табличку со стихами вполне можно повесить дома на стену.

Еще она заберет двенадцатилитровый медный чайник – когда-то этот чайник стоял на столике в углу, доверху наполненный самогоном. Ночью любой мог зайти в «Собаку» – двери в Чудове тогда не запирались – и из этого чайника опохмелиться.

И медный таз – его она тоже унесет домой. В давние времена таз этот ставили почетному гостю, чтобы тот мог дать отдых ногам в горячей воде с лимоном и лавром. Медный таз можно было и заказать, и этим с удовольствием пользовались внезапно разбогатевшие мелкие подрядчики, игроки или воры, громко требовавшие таз и швырявшие деньги на пол: этим субчикам так хотелось почувствовать себя в центре всеобщего внимания, на вершине счастья, славы и могущества – в правой руке бокал с шампанским, в левой сигара, шлюха на колене, ноги с кривыми желтыми ногтями – в тазу...

Ей не спалось, и ночами она бродила по Чудову. Город обречен, думала она. Со стороны Кандаурова и Жунглей все ближе подступают двадцатизэтажные башни – благодаря этому стоимость чудовской земли растет из месяца в месяц. Но город – город исчезает. Аптекарь Сиверс продает свое заведение вместе с заспиртованными карликами, которые таращатся на прохожих из огромных бутылей со спиртом, – их привез из Германии лет двести назад предок аптекаря. В «Собаке Павлова» нет посетителей. В крематории, которому вот-вот исполнится сто лет, покойников сжигают всего раз в два-три месяца, остальных закапывают на новом Кандауровском кладбище: все поголовно стали верующими, все уверовали в бессмертие души и воскресение, все хотят спасения по приемлемой цене. Народ продает свои дома и переезжает в квартиры, превращаясь в население. И мужчины... вывелись мужчины, которым было бы интересно увидеть, как Малина расстегивает лифчик...

Она бродила по улицам – в мужских носках, в резиновых шлепанцах-сланцах и в домашнем халате без пуговицы на животе, иногда задерживаясь у церкви, но так и не решаясь войти: женщину с такой грудью, как у нее, Бог, конечно же, слушать не станет...

В одну из таких ночей она и встретилась с Маратом Воиновым по прозвищу Марс.

На ночь Малина оставляла включенной лампочку-сорокапятку на стене за стойкой – ее слабый свет едва достигал середины зала. Той ночью, когда Малина вернулась с печальной своей прогулки по городу, она увидела в ресторане мужчину, сидевшего на границе света и тьмы.

Когда он встал, Малина попятилась – так он был огромен. У ног его стоял огромный же чемодан. Мужчина сказал, что ему нужна комната, и Малина не смогла ему отказать, хотя номера уже давно не сдавала. Было что-то в его фигуре, в манере держаться, в голосе – что-то такое внушительное, что слово «нет» умирало, не дойдя до рта.

Они поднялись наверх, в двухкомнатный номер. Тут Малина наконец смогла разглядеть постояльца. Ему было лет тридцать пять. Коротко стриженный, с приплюснутыми ушами, толстой шеей и перебитым боксерским носом, он был похож на бандита. Но на руках у него не было ни татуировок, ни перстней, а на шее – не толстая голда, а шнурок для нательного крестика.

– Как тебя зовут? – спросила Малина.

– Марс, – сказал он. – Марат. Как хочешь.

– Надолго?

Он пожал плечами и протянул Малине пачку пятидесятирублевых купюр.

– Есть хочешь? – спросила Малина.

Он кивнул.

Она принесла еды и водки.

Марс выпил без жадности, поел не торопясь, потом вытер рот салфеткой и сказал, что ляжет с краю. Он не просил и не приказывал, он даже не ждал ответа – просто сообщил Малине, что ляжет с краю, и она, словно загипнотизированная, кивнула и стала раздеваться.

Малина не ошиблась: Марс был бандитом.

Он был одним из тех парней в куртках-косухах и спортивных штанах, которые вымогали деньги у торговцев, воровали, поджигали, стреляли, бились насмерть с другими рэкетирами, то есть верой и правдой служили хозяину, который платил им небольшими деньгами, обильной выпивкой и непривередливыми девчонками, а еще анаболиками, потому что общий вес бригады из десяти человек не мог быть меньше тонны.

Вскоре, однако, хозяева поняли, что Марс наделен особым даром, и стали брать его с собой на переговоры. Марс играл там роль *молчуна*. Все время, пока хозяин вел переговоры, Марс не произносил ни слова, вообще не издавал никаких звуков и даже не шевелился. Его молчание было велико и страшно, как грозное безмолвие громадной скалы, в любой миг готовой обрушиться на головы людей убийственную тысячетонную лавину из снега, льда и камней. Его молчание усиливало доводы хозяина и подавляло врагов. Они тоже приводили с собой молчунов, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с Марсом, который переигрывал любого соперника: он был тверд, а они – они были всего-навсего упрямы. Он без колебаний поворачивался к врагам спиной, твердо зная, что никто не осмелится напасть на него. Все знали, что он из тех людей, которые никогда не просят прощения. Иначе он, наверное, и не выжил бы.

Когда Малина спросила, чем он занимался, потеряв хозяина, Марс не ответил, и она поняла, что больше спрашивать об этом не следует.

Марс никуда не выходил. Малина приносила еду в номер и всякий раз заставляла мужчину сидящим на стуле посреди комнаты. Он часами неподвижно сидел на стуле, глядя на экран выключенного телевизора. Малина ставила перед ним поднос с тарелками – Марс не менял позы и не отвечал на вопросы. Ему ничего не было нужно. Он просто сидел на стуле до самого вечера. А ночью занимался сексом с Малиной.

Она укладывала племянниц, поднималась в двухкомнатный номер, принимала душ и ложилась под одеяло. Малина все никак не могла понять, доставляет ли секс удовольствие Марсу. Он занимался любовью, не издавая никаких звуков, дышал ровно и глубоко, как человек, который пишет письмо налоговому инспектору или смотрит фильм о жизни дельфинов. Но упреков он не заслуживал – он был хорошим любовником, даже слишком хорошим для стареющей женщины, у которой при его приближении груди снова стали выскакивать из лифчика, как раскаленные ядра из чудовищной пушки, и которая ночью кричала так, что на другой стороне площади, в аптечной витрине, заспиртованные карлики бледнели от зависти...

Все изменилось, когда кунгурские племянницы Малины – беленькая Рина и черненькая Рита – вдруг вышли из тени. Это случилось в тот день, когда старуха по прозвищу Баба Жа нашла в лесу беленькую Рину – она была изнасилована и изуродована.

Марина, которую с детства звали Риной, была старше сестры на год. Длинноногая худощавая блондинка с большими голубыми глазами, тонкими чертами лица и маленькой грудью, она была глуповатой, но доброй девочкой. Директриса школы Цикута Львовна называла ее «нашим фирменным поцелуем»: всякий раз, когда какому-нибудь важному гостю нужно было вручить цветы «от лица школы» и одарить его при этом невинным поцелуем, звали томную красавицу Рину. Разговаривая с кем-нибудь, она стыдливо отводила взгляд и даже отворачивалась, чтобы не смущать собеседника своей красотой.

А вот черненькую Риту никуда не звали – ее побаивались и дети и взрослые. Она тоже была красива, но какой-то мучительной, болезненной, темной красотой. Смуглая, большегрудая, широкобедрая, с иссиня-черными блестящими выющимися волосами, с темной полоской над верхней капризной губой, взгляд исподлобья – от Риты веяло зноем и грозой.

«Все дело в ноге, – со вздохом говорила Малина. – В левой ноге».

Левая нога у Риты была на пятнадцать сантиметров короче правой.

Рита была первой ученицей, но друзей у нее не было. Девочек отпугивала ее безжалостная язвительность, а мальчиков – шило, которое Рита пускала в ход не раздумывая, стоило какому-нибудь парню облапить ее или хотя бы случайно коснуться ее бедра.

Выпускной вечер в школе совпал с конкурсом красоты, на котором беленькая Рина была удостоена титула Мисс Чудова. А утром старуха Баба Жа нашла ее в лесу – в бальном платье, с пластмассовой золоченой короной, пришпиленной к прическе, изнасилованную, с выколотыми глазами и вырезанным языком.

У Малины случился удар, и ее уложили в больницу по соседству с Риной.

Тем же вечером Рита поднялась наверх, в номер, который занимал Марс.

Малина не скрывала от племянниц, что живет с Марсом. Она называла его щедрым мужчиной, настоящим мужиком. Девочки ни разу его не видели, но каждую ночь просыпались от теткиных воплей. Рина вскоре снова засыпала, а вот Рита еще долго не могла успокоиться: эти истошные крики вгоняли ее в дрожь и жар. Она ворочалась, думая о том, что происходит наверху, и это ее мучило, доводило до изнеможения.

Рита не верила никому. Она чувствовала ложь и лицемерие окружающих, которые твердили, что ее увечье ничего не значит – был бы человек хороший. Она понимала, что мальчишек и мужчин привлекают ее большая грудь и широкие бедра, но не она, нет, не она, потому что никто никогда не смирится с тем, что она – это ее левая нога, которая короче правой на

пятнадцать сантиметров. Эти пятнадцать сантиметров и были той пропастью, которую никто не мог преодолеть, а Рита – Рита и не хотела преодолевать.

Малина утешала ее: «Муж... а что муж? Можно и без мужа. Дашь кому-нибудь с закрытыми глазами, а потом прогонишь, родишь себе ребеночка – и радуйся...»

Но Рита не хотела с закрытыми глазами. Она хотела любви, она хотела быть как все, и это пугало Малину, которая была уверена в том, что мужчине, в которого племянница влюбится, влюбится без оглядки, по-настоящему, такому мужчине Рита сначала признается в любви, и отдастся беззаветно, и будет десять минут счастлива, а потом обязательно перережет горло или даже перегрызет, и сделает это с открытыми глазами.

Утром Рита встречала в кухне тетку – улыбающуюся, краснолицую, страдающую одышкой, с чудовищными вислыми грудями, с утиной походкой – и не могла поверить, что это безобразное существо всю ночь вопило от счастья, умирая от любви. Именно от любви: Рита считала, что только любовь может быть единственной уважительной причиной для смерти.

Ей хотелось увидеть этого мужчину, который каждую ночь заставляет вопить от счастья двухметровую шестидесятикилограммовую женщину.

Рита нажарила мяса, сделала салат, поставила на поднос графин с водкой, причесалась, выбрила подмышки, поменяла трусики, сбрызнулась теткиными духами и поднялась в номер.

Марс не удивился, увидев вместо Малины хромую девушку.

Пока он ел, она рассказывала о том, что произошло с сестрой и теткой.

Марс слушал, не поднимая головы, и только когда она умолкла, кивнул.

– Я приду через час, – сказала Рита. – Посуду заберу.

Марс промолчал.

Шестьдесят минут Рита старалась не думать о Марсе и о том, что должно случиться, а еще старалась не думать о том, что ничего может и не случиться. Шестьдесят минут. Потом поднялась в номер, собрала посуду и отнесла в кухню. Это заняло семь минут. Когда через девять минут она вернулась, Марс все еще курил у окна, глядя на площадь, освещенную луной.

– Я лягу у стенки, – сказала Рита, едва сдерживая дрожь.

Марс не ответил.

На то, чтобы раздеться, у Риты ушло меньше минуты.

Марс коснулся ее, когда она досчитала до ста двенадцати.

Марс очнулся. Он решил привести в порядок «Собаку Павлова» – и ресторан, и гостиницу, пока Малина и Рина лежат в больнице.

Рабочие вынесли столы и стулья, сняли громадную люстру, в бронзовых зарослях которой родилось и умерло несколько поколений птиц и пауков, шторы, выкроенные из шинелей немецких военнопленных, и занавески, сшитые из пеньюаров обитательниц публичного дома «Тело и дело», разгромленного в 1918 году Первым красногвардейским батальоном имени Иисуса Христа Назаретянина, Царя Иудейского, они содрали со стен электропроводку и двадцатидвухслойную штукатурку, насквозь пропитанную сивушными испарениями и табачным дымом, вынесли из бильярдной стол, ножки которого были сделаны из красного дерева в форме курчавых мавров и весили каждая сто двадцать пять килограммов без трех граммов, выставили оконные рамы и вскрыли дубовый пол, обнаружив под половицами около тысячи безуханных мышиних мумий, семь обручальных колец, россыпи фальшивого жемчуга, произведенного из чешуи речной уклейки *Alburnus lucidus*, триста четырнадцать выбитых зубов, несколько сотен патронных гильз, более тысячи костяных и железных пуговиц, неотправленное любовное письмо, написанное на безупречном французском, множество медных и серебряных монет, среди которых оказался богемский талер, отчеканенный в 1585 году, золотую цепочку с медальоном в форме сердца и, наконец, полуистлевшие женские панталоны, обшитые кипящим брюссельским кружевом и благоухающие духами «Нильская лилия»...

В то время как рабочие с утра до позднего вечера крушили, скребли, заколачивали, штробили, сверлили, строгали, тесали, полировали, штукатурили, красили и белили, Марс вел переговоры с поставщиками, клиентами, партнерами и конкурентами.

По мере продвижения работ в «Собаке Павлова» в Чудове один за другим закрылись ларьки, круглосуточно торговавшие пивом, сгорел мотель на въезде в город, милиция опломбировала залы игровых автоматов, а неуступчивый хозяин популярного кафе «Третья нога» свел счеты с жизнью, дважды выстрелив себе в затылок из крупнокалиберной бесшумной снайперской винтовки «Выхлоп».

Открытие обновленной «Собаки Павлова» было приурочено к выписке из больницы Малины и ее несчастной племянницы Рины.

Рита вела тетку под руку, корчась от стыда за беспомощную старуху, у которой текла подбородку слюна, а Рину Марс принес домой на руках.

На следующий день Малина и Рина заняли места в креслах, поставленных у входа в «Собаку», Марс и Рита встали у них за спиной, а по обе стороны расположились музыканты – слева во главе с Валерием Гергиевым, справа – под руководством Владимира Спивакова.

Гости начали собираться с раннего утра.

Один за другим на площадь въезжали черные лимузины с тонированными стеклами. Огромные мужчины в неброских дорожных костюмах и генеральских мундирах один за другим подходили к Малине – «Дмитрий Анатольевич... Владимир Владимирович... Игорь Иванович... Алексей Борисович... Герман Оскарович... Рашид Гумарович... Юрий Яковлевич... Владимир Иванович... Анатолий Борисович...» – и пожимали руку. Малина кивала им рассеянно и поправляла шляпку. Затем гости здоровались с Риной – на ней была шляпка с вуалью, а руки она прятала в муфте.

Охранники в черных очках вежливо сдерживали толпу.

Наконец под звуки фанфар мэр Чудова, совсем ошалевший от обилия знаменитостей, перерезал ленточку, и гости вслед за Малиной, Риной, Марсом и Ритой вступили под своды «Собаки Павлова».

Солнечный свет свободно проникал сквозь венецианские зеркальные стекла в зал, который еще недавно казался продымленной разбойничьей пещерой, а теперь превратился в храм радости и процветания.

Батюшка освятил заведение, стараясь быть кратким.

Со сцены, украшенной роскошными розами и живыми птицами, гостей приветствовала Анна Нетребко, исполнившая искрометную арию по-итальянски.

Захлопали пробки, шампанское полилось рекой.

Гости с бокалами в руках обступили острорылую бронзовую собаку – каждому хотелось потрогать ее нос на счастье.

Огромным спросом пользовался старинный медный чайник, наполненный ломовым самогоном, а к медному тазу с водой, заправленной лимоном и лавром, выстроилась очередь.

В большой комнате рядом с главным залом, где раньше пылился покоробленный бильярдный стол, теперь красовались игровые автоматы и рулетка. Нашлось место и для интернет-салона. В бывшей кладовой, где хранился хозяйственный инвентарь, была устроена уютная переговорная комната – с баром, кондиционером и комфортабельным подземным ходом, который выводил в центр Москвы, к Манежной площади. Наверху гостей ждали опрятные девочки всех ценовых категорий, а в старинном подвале разместилась пыточная, оборудованная по последнему слову техники. Огромный внутренний двор, обычно заставленный ящиками, коробьем, молочными бидонами и контейнерами с мусором, был превращен в автостоянку.

Чтобы не смущать гостей своим увечьем, Рита весь день просидела в углу с бокалом вина, которое так и не пригубила. Она была ошеломлена тем, что произошло в ее жизни за месяц. Она стала женщиной и уже через неделю кричала по ночам так, что на другой стороне площади, в аптечной витрине, заспиртованные карлики бледнели от зависти. Марс и Рита занимались любовью под стук молотков и вой электрических дрелей, утром она кормила рабочих яичницей с колбасой, днем навещала тетку и сестру, а вечером готовила ужин, после чего принимала душ и поднималась наверх с такой легкостью, словно ее левая нога внезапно прибавляла пятнадцать сантиметров.

Открытие «Собаки Павлова» – лимузины, гости, музыка, блеск и шум – поразило ее, хотя она сама участвовала в преображении заведения, пусть и в роли молекулы, вовлеченной в химическую реакцию. И Марс – Марс был великолепен. Он держался со всеми этими людьми без тени подобострастия и без намека на фамильярность, никому не выказывая любви и никого не лишая надежды. Кажется, за весь день он не произнес ни слова, но все понимали, кто здесь хозяин. Он всегда оказывался там, где нужно, и чаще всего – рядом с Риной.

Рита хмурилась, вспоминая, как Марс нес Рину из больницы на руках, а она обнимала его за шею. В шуме и гаме праздника, в толпе слепая Рина вздрагивала и оживала, стоило Марсу оказаться поблизости, словно она улавливала какие-то волны, исходившие от него.

После прощального фейерверка, который жители государств, отваживающихся граничить с Россией, приняли было за начало новой мировой войны, Марс проводил последних гостей, выпив с каждым на посошок, и отнес Рину в спальню.

Той ночью Рита была особенно требовательной, даже капризной, но Марс был, как всегда, нежен и неутомим. Проснувшись под утро, Рита не обнаружила Марса рядом и сразу поняла, где он может быть. Только у Риной, где же еще. Там она его и нашла.

Марс сидел на краю кровати и гладил Рину по голове, а Рина трогала дрожащими своими руками его спину, лоб, плечи, грудь...

– Ей легче, когда я рядом, – сказал Марс, не оборачиваясь.

У Риты так свело челюсти, что треснул левый коренной зуб, а рот наполнился кровью – прикусила язык.

Ресторан «Собака Павлова» ожил и расцвел. Люди приходили сюда выпить пивка, потому что оно здесь было дешевле, чем в магазине, да и не было поблизости других мест, где бы сутки напролет торговали неразбавленным пивом. Днем наезжали солидные господа, занимавшие переговорную комнату. Никогда не пустовал интернет-салон. Крутилась рулетка и пощелкивали игровые автоматы. А вечерами зал набивался битком – в Чудов приезжали даже из Москвы, чтобы послушать Аллу Пугачеву, Ника Кейва или старика Черви, который без устали играл на дивной своей червивой скрипке, притопывая порыжелым яловым сапогом, дымя чудовищной папиросой и мотая кудлатой седой башкой, плача и смеясь, плача и смеясь... И всю ночь наверху пели многострунные кровати, и деньги текли рекой...

Рита вела бухгалтерию, отвечала на звонки, назначала встречи и следила за тем, чтобы рубашки Марса были вовремя выстираны и выглажены. Теперь ей не приходилось готовить еду – этим занимался синьор Джузеппе. В свободное время она читала или ездила по магазинам – расплачивалась платиновой карточкой.

Когда Марс сказал, что наконец-то нашел хорошего врача, который согласился заняться ее увечной ногой, Рита ответила:

– Не сейчас – после родов.

– Как скажешь.

Вот и все: «Как скажешь».

С наступлением осени Рита отправилась в школу. Она не скрывала беременности и не требовала поблажек, а от физкультуры ее давным-давно освободили «по ноге».

Марс был занят, часто ужинал где придется, но каждую ночь засыпал рядом с Ритой.

Малина потихоньку приходила в себя, иногда даже обедала в ресторане, а однажды сходила сама в парикмахерскую. По вечерам Марс помогал ей раздеться и ложился с краю: Малина плохо засыпала, если рядом не было мужчины. Они болтали о том о сем, то есть болтала Малина, а Марс слушал, потом она начинала похрапывать.

Малина вернулась в состояние невинности и не беспокоила Риту.

А вот сестра – сестру Рита готова была убить.

Рина лежала целыми днями на боку, подтянув колени к груди, и дрожала. В ее комнате пахло зверем, как в зоопарке или в конюшне. Но стоило появиться Марсу, как она преображалась, превращаясь в девушку с нежной шеей и красивыми ляжками. Она выбиралась из-под одеяла, прижималась к Марсу и начинала трогать его и гладить – его лоб, плечи, грудь... А когда он уходил, она снова превращалась в зверушку, слепую, немую и вонючую, которая только мычит и дрожит, мычит и дрожит...

– Ей надо умереть, – сказала Рита. – Никакого смысла в ее жизни нет. Лежать и дрожать – это не смысл, а больше она ничего не умеет. Даже имени своего выговорить не может. Мы без нее проживем, а она без нас – нет. Малина скоро умрет, у меня свои дела... – Она положила руку на живот и по-бабьи вздохнула. – Ты – ты как пришел, так и уйдешь...

Марс молча смотрел на нее.

Рита чувствовала, что от сгустившегося в воздухе электричества у нее сейчас волосы встанут дыбом. Встанут дыбом, затрещат и вспыхнут, разбрызгивая вокруг искры.

– Так лучше, – сказала она, не опуская глаз.

Марс протянул ей подушку.

Она взяла подушку и замерла.

– Сама, – сказал Марс. – В первый раз – сама. Чтобы потом не пришлось прощения просить.

Рита уставилась на него.

Марс кивнул.

– А ты... – Рита сглотнула. – Ты в первый раз – кого? Отца? Брата?

– Сама, – повторил он.

Они спустились к Рине.

Рита оперлась коленом о край кровати и склонилась над сестрой, но та вдруг вся содрогнулась и стала хватать Риту руками, хватать, трогать – лоб, грудь, живот, и Рита взвыла, ударила ее подушкой и выбежала из комнаты, а Марс сел рядом с Риной и взял ее за руку.

Через час он нашел Риту на берегу озера, неподалеку от Кошкина моста. Она прикурила сигарету, делала затяжку и выбрасывала окурки в воду. Когда Марс опустился рядом на траву, Рита вытащила из пачки последнюю сигарету.

– Зачем тебе это? – спросила она, не глядя на него. – Мы тебе – зачем?

Марс щелкнул зажигалкой. Рита прикурила.

– Зачем? – повторила она.

– Не кури много, – сказал он, поднимаясь и протягивая ей руку. – Это мы без нее не можем. Она и без нас умрет, а нам без нее не прожить.

Рита выбросила сигарету и взяла его за руку.

Через месяц, в начале октября, в чудовском храме Воскресения Господня в присутствии немногочисленных гостей Марс и Рина сочетались браком.

Рина была в белом и золотом, а Рита – в золотом и зеленом.

Когда священник спросил Рину, берет ли она в мужа раба Божия Марата, Рита ответила за безязыкую сестру: «Да».

В конце марта Рита родила сына – его назвали Ильей, Ильей Маратовичем. А Рина в начале июне родила девочку – ее назвали Ольгой, Ольгой Маратовной.

Марс по-прежнему много работал, Рита и Рина занимались детьми.

Никто не знал, как все эти марсианки делят своего Марса, а гадать о том, что из всего этого выйдет, никто и не брался. К Марсу с такими разговорами люди подходить боялись, к Рите – побаивались: того и гляди пырнет шилом. А с Малиной говорить про это было бесполезно.

Когда однажды старуха Баба Жа сказала, что такая жизнь долго продолжаться не может, потому что это не жизнь, а мечта, Малина ответила с сонной улыбкой: «Нет мечты – нет и правды». От нее и отстали.

Днем Малина прогуливалась по городу, нарочно то и дело проходя мимо аптечной витрины, мимо карлика, заключенного в бутылку со спиртом. Глаза его вспыхивали, когда мимо проплывала Малина. Она игриво подмигивала карлику и удалялась, поигрывая задницей, которая размерами и красотой не уступала корме шестидесятипушечного фрегата, мощно режущего океанские воды и несущего на высоких мачтах умопомрачительные белоснежные паруса, наполненные ветром и не уступающие размером и красотой грудям Малины.

А ночью, когда город засыпал, она выходила на балкон, сбрасывала шелковый халат и, заведя руки за спину, начинала расстегивать лифчик, и карлик в аптечной витрине широко открывал глаза и замирал, глядя на огромную белую женщину в вышине, среди звезд, и ему вдруг вспоминалась молодость – кавалерийские лавы, турецкие ятаганы, окровавленные знамена, разверстые черные рты раненых, трубы и барабаны, слава, слава, слава, смерть и слава, и слезы наворачивались на глаза карлика, вот уже двести лет пытающегося смириться с божественным несовершенством человеческой жизни, и горечью наполнялось его бедное сердце, когда Малина наконец со стоном освобождалась от лифчика и – нет, не раскаленные ядра вылетали из чудовищной пушки – всплывали над Чудовом два туманных и нежных светила, две полных луны, две родных сестры – покой и печаль...

Взлет и падение Кости Крейсера

Четыре тысячи шестьсот семьдесят два килограмма червонного золота, в которое для блеска было добавлено высокопробное серебро, бамперы из чистейшей платины, около тысячи тридцатитрехкаратных бриллиантов по всему кузову, пуленепробиваемые стекла, ксеноновые фары, два скорострельных авиационных пулемета Шпитального – Комарицкого, двигатель мощностью шестьсот лошадиных сил, вместительный салон, отделанный ароматным алым шелком, черным бархатом и мягчайшей кожей, содранной с предателей, лучшие девушки, лучшее шампанское и лучший бензин – такой лимузин был только один на всем белом свете, и принадлежал он Косте Мигунову, бандиту и королю бандитов.

Когда-то это был «Крайслер», но после переделок автомобиль стал напоминать какой-то военный корабль, какой-нибудь, например, крейсер. Так его и называли – «золотой крейсер», а Костю, понятное дело, – Костей Крейсером.

Сын школьной уборщицы и спившегося одноногого кочегара, Костя начинал рядовым бойцом в бригаде рэкетиоров. Он был курносый, тощим, жилистым и, конечно, проигрывал дружкам борцовской комплекции. Но зато у него был пес, стойивший десятка бандитов, вооруженных бейсбольными битами, цепями и кастетами.

Этот пес никого не боялся и ничего не просил. Огромный черный пес, у которого вместо левого глаза была язва, сочившаяся сладким гноем. Он всегда брал все как свое – что еду, что сучку. Он жил без страха, и все понимали, что и умрет он без трепета. Он вызывал у всех раздражение и злость, потому что он жил сам по себе. А если его ловили и били, он не скулил, но сражался, а если не мог сражаться, то терпел, а потом уползал в укромное место, чтобылизать раны, и возвращался к прежней жизни. Он был не из тех, кто нуждается в божии или господине, но если ему вдруг вздумалось бы кому-то подчиниться, то он сам выбрал бы себе хозяина. Вот он и выбрал Костю, человека, который тоже жил сам по себе и никогда ни в ком не нуждался.

Пес ворвался в толпу мальчишек, которые в прибрежном ивняке избивали Костю, расшвырял всех и сел рядом – черная гора, гладкая блестящая шкура, могучие мышцы, огромные клыки, язва, сочащаяся сладким гноем. И все поняли, что с этим псом лучше не связываться, и с Костей – тоже.

Костя же даже не взглянул на собаку. Поднялся, вытер кровь и пошел куда глаза глядят. Пес последовал за ним. И с того дня он всюду сопровождал Костю, хотя тот его не кормил и не пытался завязать с ним дружбу. Не гнал и не звал. Даже имени псу никакого не дал. Но теперь все знали, что всякий, кто покусится на Костю, будет иметь дело с черным псом. Он никогда сам не нападал на людей, но стоило кому-нибудь поднять руку на Костю, как в эту руку впивались огромные зубы черного пса.

Вот с этим псом Костя и пришел в бригаду рэкетиоров. Постригся наголо, надел кроссовки, спортивные штаны с лампасами и короткую кожаную куртку – внешне стал как все. Типичный рядовой рэкетир, у которого, правда, был пес, стойивший десятка бандитов, вооруженных бейсбольными битами, цепями и кастетами.

Поскольку Костя был смышленным и упорным парнем, в питье знал меру, а любил только мороженое, уже через полгода он стал бригадиром, а через год обзавелся собственным бизнесом. Он не просто брал налог с владельцев магазинов и кафе, защищая их от других бандитов, но стал работать на паях с этими владельцами, обеспечивая своевременную поставку товара и полезные связи в пожарном и санитарном надзоре, милиции и других учреждениях, от которых зависела торговля.

Вскоре Костя стал арендатором, а потом и хозяином Фабрики.

Фабрика располагалась километрах в пяти-семи от Чудова, неподалеку от Кандаурова. Когда-то там выпускали что-то полувоенное, потом канцелярские товары, потом затеяли швейное производство, а когда и оно лопнуло, фабричные цеха стали сдавать в аренду.

Эти приземистые корпуса из красного кирпича были построены в конце XIX века, впоследствии предприятие много раз перестраивали и расширяли, оно обросло множеством пристроек, и в конце концов на обширной территории, обнесенной долгим бетонным забором, образовалось огромное скопление разномастных и разнокалиберных строений под железными, шиферными и толевыми крышами, с окнами и без, целый город, где запросто можно было заблудиться. В этих строениях размещались склады стройматериалов и бытовой химии, китайской одежды и вьетнамской обуви, авторемонтные мастерские, оптовые магазины и гаражи, подпольные порностудии, ликероводочные и швейные производства, а все проходы и проезды были загромождены стальными трубами, автопокрышками, штабелями досок и кирпича, ящиками, коробками, бочками и мешками.

Фабрика эта была Вавилоном, по улицам которого с утра до ночи сновали люди, грузовики, погрузчики, а после полуночи сюда стекались торговцы с Кандауровского рынка – для них здесь были устроены гостиницы, банки, кафе, бани, бильярдные и бордели.

Русские, украинцы, грузины, белорусы, азербайджанцы, чеченцы, узбеки, китайцы, сомалийцы – продавцы, водители грузовиков, охранники, бомжи, проститутки, наркоторговцы, грузчики, сварщики, электрики, каменщики, курьеры, проповедники и убийцы – всем находилось здесь место. Здесь они обретали кров, пищу, водку, гашиш, любовь, деньги, а иногда и смерть.

Поговаривали, что в фабричных подземельях устроены даже свои тюрьмы и кладбища, где нет никаких различий между христианами, мусульманами, буддистами и гомосексуалистами.

Сюда часто наезжала милиция, но Костя и обитатели Фабрики предпочитали улаживать свои дела сами и старались не выносить сор из избы.

Фабрика сделала Костю полновластным хозяином округа, царем, героем и кумиром. Он всегда давал на опохмел пьяницам, помогал старушкам и тем женщинам, которых сделал вдовцами, обеспечивал больницу и детдом продуктами и мылом, а милиционеров и учителей – прибавкой к жалованью. Это он заставил торговца квасом Витьку Однобрюхова принародно жрать червей из квасной бочки, чтобы впредь ему было неповадно травить честных людей, и Витька жрал и благодарил за науку. Это он, Костя, разрешил Любаше Маленькой, влюбившейся без памяти в братьев-близнецов Галеевых, жить с двумя мужьями зараз. Это он каждый месяц закатывал пир горой в ресторане «Собака Павлова», куда мог заявиться любой – наесться от пуза, напиться, наплясаться и получить в подарок бутылку водки и кусок колбасы. Это он спас от смерти любимую учительницу Нину Гавриловну, которая умирала от рака легких: заплатил кому надо, чтобы Нина Гавриловна провела ночь в мавзолее, под стеклянным колпаком, бок о бок с Лениным, после чего она полностью выздоровела. Это он купил третий глаз Скарлатине, чтоб эта зараза никогда больше не вылезала на дорогу, когда по ней проезжал Костин золотой крейсер. А еще он купил матери норковую шубу и норковую тряпку, которой она мыла школьные коридоры, а отцу новую ногу – дивный протез, в котором можно было прятать бутылку водки, стакан, соленый огурец, соль, пачку сигарет, зажигалку и кусок хлеба.

К нему шли за советом, защитой и ссудой, и все мальчишки мечтали когда-нибудь окатиться в Костиной банде, а все девчонки – в его постели.

Костю можно было застать в «Собаке Павлова», где каждый вечер он съедал салат, кусок мяса и выпивал стакан чая с тремя ложками сахара. Сидел за столом в углу, ни на кого не обращая внимания, и жевал свое мясо с таким видом, словно ему все равно, что жевать – мясо, сено или говно. Равнодушно съедал ужин, выпивал стакан чаю, расплачивался и уходил, а за

ним следовал самый верный его помощник и охранник – огромный черный пес, у которого вместо левого глаза была язва, сочившаяся сладким гноем.

Однажды вечером к ресторану подъехал мотоциклист в кожаной куртке. Оставив мотоцикл у входа и не сняв шлема, он вошел в «Собаку», выхватил из-за пазухи револьвер и выпустил в Костю шесть пуль. Все, кто был в зале, попадали на пол, один Костя остался сидеть за столом. Он только поднял голову и уставился на мотоциклиста, который шесть раз выстрелил в Костю с двух шагов. Но Костя и глазом не моргнул, когда в него стреляли. Сидел истукан истуканом, уставившись на убийцу, и продолжал жевать свое мясо. Пять пуль прошли мимо, искрошив стену вокруг Костиной головы, и лишь одна попала в цель.

– Пять пуль он отвел взглядом, – шепотом рассказывала потом горбатенькая почтальонка Баба Жа. – А на шестой мигнул, вот она в него и попала.

Когда мотоциклист выбежал из ресторана и уехал, Костя положил деньги на стол и отправился в больницу, где доктор Жерех-младший вытащил из его плеча пулю.

Пока хирург копался в его ране, Костя продолжал дожевывать мясо, равнодушно таращась на стену, украшенную прошлогодним календарем и раздавленными мухами.

На все вопросы милиционеров, которые допрашивали его после происшествия в «Собаке Павлова», Костя отвечал одно и то же: «Не знаю».

Никому так и не удалось узнать, кто пытался убить Костю и его пса, который в день покушения не смог защитить хозяина, потому что оказался в ветеринарной клинике с тяжелым отравлением.

Именно тогда – вскоре после стрельбы в «Собаке Павлова» – и появился у Кости крейсер: четыре тысячи шестьсот семьдесят два килограмма червонного золота с добавлением серебра, бамперы из чистейшей платины, около тысячи тридцатитрехкаратных бриллиантов по всему кузову, пуленепробиваемые стекла, два скорострельных пулемета Шпитального – Комарицкого, двигатель мощностью шестьсот лошадиных сил, вместительный салон, отделанный ароматным шелком, бархатом и кожей, содранной с предателей, лучшие девушки, лучшее шампанское и лучший бензин.

Трудно сказать, когда началось падение Кости Крейсера. Его ближайший друг и телохранитель – двухметровый верзила по прозвищу Баста Бой – считал, что все беды обрушились на них из-за «этих пидорасов» – адвокатов, лощеных улыбчивых молодчиков, которые лучше всех знали, как проглотить больше, чем прожевал.

Костя нанял их из-за Фабрики, которую у него пытались отнять чиновники. Будь это бандиты, Крейсер разобрался бы с ними без разговоров: людей, стволов и свирепости ему было не занимать. Но на этот раз ему пришлось столкнуться с государственными служащими, которые воевали по другим правилам.

На месте Фабрики власти решили построить торгово-развлекательный центр с многозальным кинотеатром, катком и огромной автостоянкой. Чиновникам не нужны были отступные – они требовали все и сразу. Да и деньги, которые должен был принести торгово-развлекательный центр, были несоизмеримы с тем, что мог предложить Крейсер. Потому Костя и решил отстаивать права собственности в судах, а там без адвокатов, понятно, не обойтись, тем более что бумаги, подтверждавшие эти его права, были не такими уж и безупречными.

Баста Бой ненавидел и боялся адвокатов. Когда они предложили какой-то совершенно замечательный план захвата дачного поселка Жукова Гора, для чего, как выразился один из них, нужно было «очистить правовое поле от лишних персонажей», Баста Бой сказал Косте:

– Живыми мы из этого дела не выберемся.

Костя и сам понимал, что это очень опасное дело: в поселке Жукова Гора жили отставные советские маршалы, генералы КГБ, знаменитые писатели и артисты. Может, потому этим и занялись бандиты, которых наняли адвокаты, а вот с ведома Кости они это сделали или нет

– неизвестно. Известно только, что он запретил участвовать в этом своим. Вскоре на Жуковой Горе случилась перестрелка, в которой погибло несколько человек, и среди них странным образом оказались двое подручных Кости Крейсера.

На следующий день Костя узнал, что расследованием этого дела занялась ФСБ. Через неделю в Чудове сменился начальник милиции – новым стал майор Пан Паратов, с которым Крейсер никогда не мог найти общего языка. Фабрику опечатали. Адвокаты не отвечали на звонки. Витька Однобрюхов без спроса открыл торговлю пивом. Братья-близнецы Галеевы выгнали Любашу Маленькую и завели себе по жене. Скарлатина потеряла третий глаз, а отец пропил протез – вместе со спрятанной в нем бутылкой водки, стаканом, соленым огурцом, солью, пачкой сигарет, зажигалкой и куском хлеба.

– Пора сваливать, – сказал Баста Бой.

Только он да черный пес еще осмеливались смотреть Косте в глаза – остальные бандиты хмурились и отворачивались.

А Костя молчал.

Его вдруг охватила тоска.

Целыми днями он просиживал в «Собаке Павлова» над мороженым, слушая «Странников в ночи», которых раз за разом исполнял на своей червивой скрипке старик Черви, а вечерами играл в шашки с пьяницей Люминием или с горбатой почтальонкой по прозвищу Баба Жа. Или бродил в тапочках на босу ногу по пустынным улицам, еле волоча за собою тяжелую тень. Или спал в обнимку с черным псом, забравшись поглубже в ивовые заросли на берегу озера. Или сидел на стуле посреди двора, тупо уставившись в одну точку.

Его золотой лимузин покрывался пылью и паутиной, в салоне поселились мыши, а в бездонном бензобаке расплодились лягушки и пиявки.

Баста Бой считал, что от такой жизни Костя вот-вот двинет кони или попадет в дурку.

И однажды Костя ни с того ни с сего потерял сознание и упал посреди двора.

Его мать позвала Люминия, тот вытащил из кустов свою тачку, заляпанную засохшим навозом, и отвез Костю в больницу.

Наутро Костя очнулся и увидел склонившуюся над ним девушку в белом. Она положила мягкую душистую ладонь на его лоб и сказала нежным детским голосом: «У тебя нос поросенком...» И засмеялась.

Так Костя познакомился с Наденькой Лапочкиной, которую все звали Лампочкой.

Лапочкины были семьей, придерживавшейся веры старого обряда. Услыхав о том, что Лампочка выходит замуж за Костю Крейсера, ее бабушка с грохотом захлопнула старинную книгу, страшно сверкнула глазами и прокаркала:

– Сердце, сердце – столица зла!

До встречи с Лампочкой Костя не задумывался о женитьбе. Он видел, как его мать избивала упившегося мужа скалкой, била изо всей силы по лицу и по гениталиям, проклиная тот день, когда влюбилась в этого пьяницу и неудачника. Костя берегся любви – обходился чистенькими проститутками из новобранок, обожавшими его за щедрость.

Лампочка была первой и последней девушкой, которой он признался в любви, а он был первым и последним мужчиной, которого она полюбила. Воспитанная в строгом религиозном духе, Лампочка не расспрашивала Костю о его преступной жизни, поскольку полагала, что это так же непристойно, как в Иерусалиме говорить о Боге, а в публичном доме – о проституции. Костю она полюбила сразу и беззаветно – со всеми его черными потрохами, татуировками и шрамами, со всеми его тайными страхами и со всем его бандитским шиком.

Костя осыпал Лампочку подарками.

Каждый день у ее дома на Восьмичасовой останавливались грузовики с цветами.

Каждый день ее мать и бабушка получали бриллиантовые серьги, кольцо и браслеты.

Накануне свадьбы Костя выписал из Парижа Кристиана Диора с подмастерьями, которые три дня шили подвенечное платье для Лампочки и праздничные костюмы для ее семьи. Кристиана Диора и его помощников поселили в номерах над «Собакой Павлова», кормили лучшими винегретами с селедкой и лучшими котлетами, поили лучшим компотом из сухофруктов и лучшим самогоном. По завершении работы им щедро заплатили – подогнали самосвал, доверху груженный деньгами, на котором мастер и его подмастерья и вернулись домой, в Париж.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.